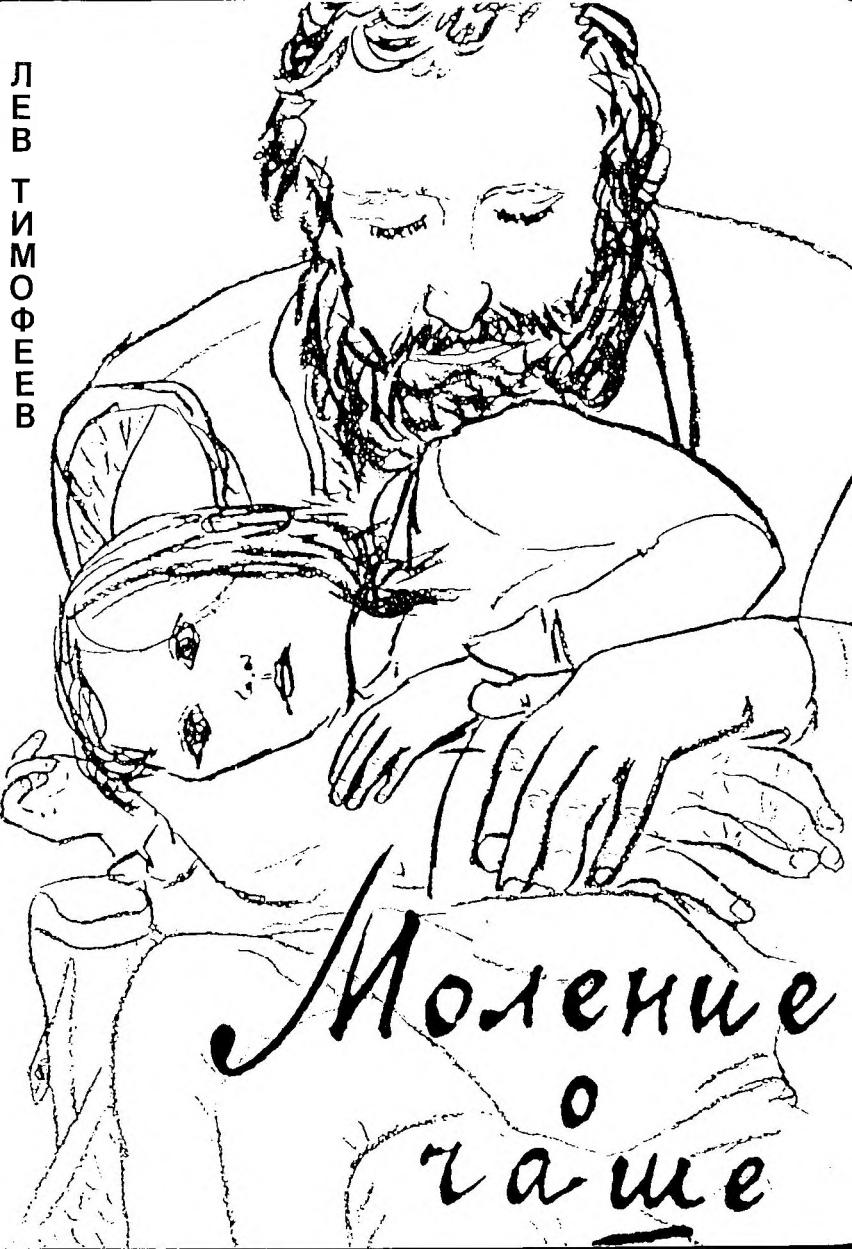


ЛЕВ
ТИМОФЕЕВ



Моление
о
чаще

ЛЕВ ТИМОФЕЕВ

МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ

**Издательство
«LA PRESSE LIBRE»**

Париж, 1989

Обложка Антонины Козловой
Использован рисунок Сони Тимофеевой

Copyright © by Lev Timofeev

I

Я — особо опасный преступник

ISBN 2. 904 228 21-7

Секретно

экз. № 1

Герб СССР
Комитет Государственной безопасности СССР
Управление
16.03.1985 № 5/10-138

Начальнику Следственного отдела
Комитета Государственной безопасности СССР
генерал-лейтенанту юстиции
т. Волкову А.Ф.

В отношении Тимофеева Л.М.

В 1980-1984 годах на Западе получили широкое распространение антисоветские сочинения Льва Тимофеева «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить», содержащие клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Они опубликованы в журналах «Грани», «Русское возрождение», «Время и мы» и неоднократно передавались радиовещательными станциями «Свобода», «Голос Америки».

В ходе розыскных мероприятий установлено, что автором указанных материалов является Тимофеев Лев Михайлович, 1936 года рождения, уроженец города Ленинграда, русский, гражданин СССР, беспартийный, женат, ранее не судимый, с 1980 г. член профессионального комитета литераторов при из-

дательстве «Советский писатель», проживает в Москве — улица академика Варги (следует адрес).

Причастность Тимофеева к изготовлению названных пасквилей подтверждается материалами выдачи литературы в Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке АН СССР, где он значится как получатель документов, использованных при подготовке «Технологии черного рынка...», перечень которых опубликован в журнале «Грани» № 120 за 1981 год.

Направляя опубликованные за границей пасквили Тимофеева Льва Михайловича и другие материалы, просим Вас решить вопрос о возбуждении в отношении его уголовного дела по части I статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР.

Приложение: по тексту в одном пакете.

Штамп: Следственный отдел КГБ СССР

Вход. № 4/688

18.03.85

Начальник Управления КГБ СССР
генерал-лейтенант И.П.Абрамов

1. Резолюция: тов. Расторгуеву В.Н. Прошу возбудить уголовное дело по ст. 70 УК РСФСР, провести расследование. *Волков.*
2. Резолюция: тов. Губинскому А.Г. Для исполнения указания руководства Отдела. *Расторгуев.* 18.03.85.

ПРОТОКОЛ задержания

Город Москва

19 марта 1985 года

...Задержание произведено ввиду наличия данных о том, что Тимофеев Л.М. на протяжении ряда лет занимается изготовлением и распространением произведений, содержащих клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй СССР, т.е. на основании, указанном в пункте 3 статьи 122 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, и по тому мотиву, что, находясь на свободе, он может препятствовать установлению истины по делу либо скрыться от органов предварительного следствия. Тимофеев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. I статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР.

Производство задержания окончено в 12 час. 55 мин...

Замечания задержанного: Мною написано заявление об отказе участвовать в следствии, которое прошу приобщить к настоящему протоколу.

19.03.85. Тимофеев

Задержание произвел и протокол составил: начальник группы Следственного отдела КГБ СССР подполковник А.Губинский

Подозреваемого Тимофеева Л.М. содержать в Следственном изоляторе КГБ СССР.

Начальник следственного отдела
Комитета государственной безопасности СССР
генерал-лейтенант юстиции

А.Ф.Волков

Начальнику группы следственного отдела
КГБ СССР Губинскому Александру Георгиевичу
от Тимофеева Льва Михайловича

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мне предъявлено обвинение в сочинении мною литературных произведений: повести-очерка «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», рассказа «Ловушка. Роман в четырех письмах», эссе «Последняя надежда выжить».

Поскольку я не считаю, что литературное творчество, сочинение литературных произведений может быть деянием уголовно-наказуемым, то решительно отказываюсь принимать участие в следствии в какой бы то ни было форме.

Подпись

19.03.85

ПРОТОКОЛ допроса подозреваемого

Город Москва

20 марта 1985 г.

Прокурор отдела Прокуратуры Союза СССР старший советник юстиции Чистяков и начальник группы Следственного отдела КГБ СССР подполковник Губинский в служебном кабинете отдела с соблюдением требований ст.ст. 123, 150-152 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР допросили в качестве подозреваемого: Тимофеева Льва Михайловича...

Допрос начат в 11 час. 35 мин.

Вопрос: Вам были разъяснены ваши права как подозреваемого. Вы отказались принимать участие в следствии в «какой бы то

ни было форме». Поясните, в каких, предусмотренных законом, следственных действиях вы отказываетесь принимать участие и какими, предусмотренными законом, правами не намерены воспользоваться в процессе предварительного следствия?

Ответ: Я отказываюсь принимать участие во всех следственных действиях и оставляю за собой право жаловаться на действия лица, производящего дознание.

Вопрос: Когда вами была написана повесть-очерк «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать»?

Ответ: Как я уже указывал в заявлении от 19 марта с.г., сам факт литературного творчества не может быть объектом уголовного расследования, поэтому я отказываюсь участвовать в следствии.

Вопрос: Названная повесть-очерк была написана вами специально для передачи за границу и ее опубликования там или вы не ставили перед собой такой цели?

Ответ: Мне нечего добавить к своему заявлению от 19 марта с.г.

Вопрос: Как ваша повесть-очерк оказалась за границей и с вашего ли ведома (как автора) была опубликована в зарубежных антисоветских журналах «Грани» и «Русское возрождение»?

Ответ: Еще раз напоминаю о своем отказе участвовать в следствии.

Вопрос: К какому виду литературы вы относите написанную вами повесть-очерк «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать»?

Ответ: Это вопрос следствия, поэтому отвечать на вопрос отказываюсь.

Допрос производился с перерывом с 13 часов 15 минут до 15 часов 20 минут и окончен в 16 часов 20 минут.

ПРОТОКОЛ допроса подозреваемого

Город Москва

26 марта 1985 г.

Начальник группы следственного отдела КГБ СССР подполковник Губинский в своем служебном кабинете с соблюдением требований ст.ст. 123, 150-152 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР допросил в качестве подозреваемого: Тимофеева Льва Михайловича...

Допрос начат в 11 часов 05 минут...

Вопрос: При обыске 19 марта 1985 года у вас в квартире был изъят изданный на Западе антисоветский журнал «Время и мы» № 77 за 1984 г. с частью опубликованного в нем вашего эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности». От кого вы получили этот журнал?

Ответ: Вопросы, которые мне предъявляются, носят характер уголовного расследования. Каждый вопрос вынуждает меня ссылаться на мое заявление от 19 марта 1985 года о неприменимости уголовного расследования к фактам литературного творчества. Поскольку к этому заявлению мне добавить нечего, я впредь отказываюсь в какой бы то ни было форме отвечать на вопросы уголовного следствия, ведущегося по поводу обвинения меня по статье 70 УК РСФСР.

Вопрос: Знакомили ли вы с содержанием этого антисоветского журнала кого-либо?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Давали ли вы читать кому-нибудь свою повесть-очерк «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», рассказ «Ловушка. Роман в четырех письмах» и эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности»?

Ответ: Ответа не последовало.

Допрос производился с перерывом с 12 часов 40 минут до 14 часов 45 минут и окончен в 17 часов.

ПРОТОКОЛ
допроса обвиняемого

Город Москва

12 апреля 1985 г.

Начальник группы следственного отдела КГБ СССР подполковник Губинский допросил в качестве обвиняемого: Тимофеева Льва Михайловича...

Допрос начат в 11 часов 45 минут...

Вопрос: Получали ли вы гонорары в 1980-1985 годах за публикацию каких-либо материалов? Что это были за материалы и где опубликованы?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Какой порядок уплаты взносов существовал в профкоме литераторов при издательстве «Советский писатель», членом которого вы являлись?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Предоставляли ли вы в профком литераторов при издательстве «Советский писатель» официальные документы, удостоверяющие суммы полученных вами гонораров?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Производилась ли названным профкомом проверка публикаций и сумм полученных вами гонораров?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В начале своего эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» вы пишете: «Мы живем в государстве, будущее которого туманно». Поясните, на чем основан этот ваш вывод.

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Далее вы пишете: «Куда мы движемся? Что будет с нами через три-пять лет? Ответы на эти вопросы сегодня не знает никто, и даже руководители страны не знают». А этот сделанный вами вывод на чем основан?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: «Темпы роста советской экономики падают год от года, и ожидается, что годовой национальный доход, который уже и теперь упал до 2%, будет и дальше сокращаться», — пишете вы в своем эссе. На основании каких данных и из каких источников полученных вы утверждаете это?*

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: У вас нет ответа на поставленный вопрос. Вы не в состоянии на него ответить?

Ответ: Моя позиция по отношению к уголовному следствию изложена в заявлении от 19 марта с.г.

Вопрос: В своем заявлении от 19 марта с.г. вы заявили, что не считаете литературное творчество уголовно-наказуемым деянием. В данном случае, речь идет о вашей работе, в которой вы клевете на внутреннюю политику Советского государства, заявляете, что «нас ждет застой и обнищание — в общегосударственном масштабе...» Кроме того, клеветнически утверждаете, что якобы в нашей стране «террор остается основным методом политического правления». Распространение же клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, путем изготовления (сочинения) литературы такого содержания является уголовно-наказуемым деянием. Понятно ли вам сделанное разъяснение? Намерены ли вы отвечать на поставленные вопросы?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Чем сейчас вы мотивируете свое нежелание отвечать на поставленные вопросы?

Ответ: Ответа не последовало.

Допрос производился с перерывом на обед с 12 часов 45 минут до 14 часов 50 минут и окончен в 16 часов 45 минут.

* Здесь и далее сохранен синтаксис подлинников.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Мне было спокойно в следственной тюрьме. Да и в лагере потом было спокойно.

В первые часы после ареста и в первые несколько дней я очень остро чувствовал свое новое положение. Жизнь резко изменилась. Но еще более резко изменилось восприятие жизни. Конечно, я заранее знал, что меня могут арестовать, и мы с женой обсуждали такую возможность, но одно дело — болезнь, хоть болезнь и смертельная, а все надеешься, — и другое дело — смерть. Впервые я понял, что значит у м е р е т ь для прежней жизни. То есть слова-то эти я хорошо знал — за несколько лет до того я был крещен, и много раз читал и слышал эти слова, но умер только теперь в глухой, без окон, с пыльной решеткой вентиляционного отверстия камере, куда меня завели для предварительного обыска, медицинского осмотра и прочих процедур, предшествующих заключению в тюрьму.

Я умер, и все лучше понимал это по мере того, как меня пытались допрашивать, по мере того, как меня обыскивали, отнимали металлические предметы: нательный крест, часы, авторучку, даже брюки мои отняли, найдя в них запрещенную металлическую застёжку, и выдали мне обесцвеченные многими стирками серые эзовские портки на веревочной завязке — впрочем, оказавшиеся очень удобными, как пижама, — я их проносил все девять месяцев пребывания в Лефортове...

Я умер. Но уже и после смерти прежняя жизнь не отпускала меня, и во сне я держал на руках своих детей, ласкал жену — так постоянно, так осязаемо, что сознание подсказывало какие-то как бы реалистические обоснования: это меня на день отпустили домой, — и пробуждение в жизнь было такой же четкой реальностью, как и реальность сна: я как бы запросто переходил из пространства в пространство.

Конечно же, я тревожился за моих близких. Я знал, что им сейчас много хуже, чем мне, а вскоре и вовсе стал интуитивно ощущать тяжелую болезнь жены (как-то в камере мне приснилось много свежего, кровавого мяса, — кажется, это была че-

ловечина, как в фильме А.Германа), потом же и прямо узнал о болезни: в коридоре суда и после, на свидании, увидел жену, утратившую разум, понял, что дети будут расти и без отца, и без матери.

И при всем при том мне было спокойно и в следственной тюрьме, и потом, в лагере. Я не знаю, как это объяснить, но я всегда знал, что все, что происходит со мной и с моими близкими — все это страшное горе, — надо воспринимать как д о л ж н о е, как д а н н о е. И в этой данности, в этом долженствовании есть б л а г о. Думаю, что для христианского сознания горе, данное как благо, не кажется ни парадоксом, ни поэтическим приемом. Это — основа всему.

Но тут же я хорошо понимал и свою двойственность, свою слабость: моя душа, мое нравственное чувство — это было спокойно, но постоянно возмущено было мое социальное сознание — я постоянно осознавал бессмысленность, тупое отсутствие логики, животный автоматизм в действиях тех, кто меня арестовал, мучал идиотскими вопросами на следствии, устраивал собачью комедию суда — и потом сторожил, открывал и закрывал множество тяжелых замков, обыскивал по четыре раза на дню, запрещал сесть или, наоборот, встать, вталкивал в камеру или выволакивал из камеры. Зачем все это? Ради чего? Неужели все только из-за того, что я позволил себе д у м а т ь? Ведь никаких иных проступков я не совершил! Я только думал — и мысли свои записывал на бумагу.

И когда я понимал это, признаюсь, успокаивалось и мое социальное сознание; значит, я хорошо думал, значит, я правильно думал, если все эти мерзавцы так встревожены... Но тут же тревога, возмущение возникали вновь: ну, хорошо, но ведь не из мерзавцев же только состоит мир, — как же могут все эти люди, все эти писатели, артисты, деятели кино, просвещенцы и просветители, все эти блестящие писатели и говоруны — как же могут они говорить и писать, когда я вот здесь сижу за десятью замками, за пятью стенами, охраняемый двумя или тремя десятками мерзавцев, — и все только за то, что я п о з в о л и л с е б е д у м а т ь! Нелепость какая-то...

И вот теперь я никогда не взялся бы за эту книгу, если бы речь шла только о горе, пережитом мной и моими близкими, — это нам дано, и нельзя жаловаться, все надо принимать с благодарностью. Но социальная бессмысленность происшедшего не дает мне спокойно жить. Нельзя казнить человека только за то, что он позволил себе думать и записал свои мысли на бумагу.

Смешно даже говорить об этом — смешно и страшно...

Но в Лефортове страшно не было. В Лефортове скоро стало спокойно и привычно: в двери камеры открывался черный квадрат кормушки, появлялось комсомольское лицо молодого надзирателя, и он указывал ключом или просто пальцем:

— Фамилия?

— Тимофеев.

— Имя, отчество?

— Лев Михайлович.

— На вызов.

На вызов — это на допрос: по металлическим, но ковровой дорожкой застеленным мосткам тюрьмы, по коридорам следственного корпуса, где в окнах простое стекло и можно успеть на ходу увидеть часть сквера, прохожих, детей, играющих в классы, — и в глухой темный коридор, в кабинет следователя.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

Город Москва

16 апреля 1985 г.

(Подполковник Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начат в 14 часов 40 минут.

Вопрос: В своем эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» вы пишете: «сегодня уверенно можно сказать, что осознание обществом своей оппози-

ции власти — важнейший социальный и духовный процесс: современной России». На основании чего вы так уверенно говорите о якобы «осознании обществом своей оппозиции власти»?
Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Считаете ли вы себя находящимся в «оппозиции к власти»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вам в очередной раз разъясняется, что написанные вами сочинения «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности», содержащие клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, используются зарубежными центрами идеологической диверсии во враждебной пропаганде против Советского Союза. Намерены ли вы, используя свое право автора, обратиться в редакции журналов и радиостанций, использующих ваши сочинения в указанных враждебных СССР целях, с тем, чтобы предотвратить в дальнейшем их публикации и использование в передачах и тем самым нанесение ущерба нашей стране?

Ответ: Ответ на этот вопрос, как и на всякий другой, возможен только после того, как органы КГБ прекратят преследовать меня в уголовном порядке как автора литературных произведений.

Вопрос: Назовите те литературные произведения, автором которых вы являетесь и за которые, по вашему мнению, вы необоснованно «преследуетесь в уголовном порядке»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: О том, что ваши сочинения с клеветой на советский общественный и государственный строй используются зарубежными пропагандистскими центрами во враждебных СССР целях, свидетельствует передача радиовещательной станции «Голос Америки» от 8 сентября 1984 года. Вам оглашается выдержка из нее следующего содержания: «В трех последних номерах издающегося в Нью-Йорке журнала "Время и мы", в выпусках с 75 по 77 опубликована последняя большая работа проживающего в Советском Союзе публициста Льва Тимофеева

«Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности». В сегодняшнем выпуске программы «Религия в нашей жизни» мы познакомим вас с отрывками из эссе Тимофеева, в которых речь идет о духовной жизни современного советского общества. Другая замечательная работа Льва Тимофеева под названием «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» была опубликована в 1980 году в ряде номеров издающегося в Соединенных Штатах квартального журнала «Русское возрождение», а затем вышла отдельным изданием в Нью-Йорке в издательстве «Товарищество зарубежных писателей». Между прочим, «Технология черного рынка» Тимофеева передается в текущих выпусках сельскохозяйственной программы «Голоса Америки». Эссе Тимофеева, опубликованное в журнале «Время и мы», — это размышление о государстве и обществе в Советском Союзе. Главный тезис этой работы — советское общество постоянно сопротивляется навязанной ему мертвящей доктрине». Что вы можете сказать по поводу приведенной вам выдержки из передачи?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вы отказываетесь принимать меры к предотвращению ущерба интересам Советского Союза, причиняемого западными антисоветскими центрами с использованием ваших уже упоминавшихся выше сочинений?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Следует ли это понимать так, что вы умышленно в целях причинения ущерба изготовили названные сочинения и передали их на Запад для их использования антисоветскими центрами во враждебной пропаганде против Советского Союза?

Ответ: Нет ответа.

Допрос окончен в 17 часов 55 минут.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

Город Москва

18 апреля 1985 года

(Подполковник Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начат в 11 часов 20 минут

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на трех листах белой стандартной бумаги, озаглавленный «Грузинские деньги и нищая Россия», начинающийся со слов: «Я — нищий... Вам, читатель, знакомо это ощущение гольной нищеты?» и заканчивающийся словами: «Взятки? — спросите у наших медсестер. Тайна». Данный текст изъят у вас в квартире при обыске 19 марта 1985 года. Кем исполнен этот текст?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Не являетесь ли вы автором предъявляемого вам текста?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В этом тексте говорится: «Мое положение в обществе всегда казалось мне достаточно высоким: я специальный корреспондент центрального журнала...» далее «И вот, дожив до сорока четырех лет и оглянувшись вокруг, я вижу, что я — нищий». Эти и другие изложенные в тексте данные дают основание полагать, что автором данного текста являетесь вы. Так ли это?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В том же тексте вы пишете: «Какая-то мистическая сила все более и более овладевает нашим обществом. Черный рынок, теневая экономика, темные связи. Тайна! Бесполезно искать разгадку этих тайн в выступлениях политических лидеров, в комментариях обозревателей, в публикациях экономистов и социологов — кругом завеса, туман. Какие-то темные силы играют нашей судьбой — как в кошмаре мелькают свиные рыла телеобозревателей, копытца мелких партийных секретарей, хвосты и уши профессоров экономики...» и далее

«Прочь! Понять-то нужно. И не только и даже не столько потому, что мне, нищему, хочется узнать, кто же мой век заел, сколько затем, чтобы увидеть воочию — что есть социализм?»

Уже в этих строках, судя по тексту, написанных вами в 1980 году, усматривается ваше негативное, если не сказать враждебное, отношение к существующему в нашей стране социалистическому строю. Для какого круга читателей предназначалась эта написанная вами статья под названием «Грузинские деньги и нишая Россия?»

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на десяти листах белой стандартной бумаги исполненный красителем зеленого цвета со вставками, исполненными красителем красного цвета. Текст начинается словами: «Наташа! А вот еще: на лекцию в санаторий...» и заканчивается словами: «Я не говорю о двух десятках барменов — миллионеры, как сказал бы кавказец Гаспар». Этот текст также изъят у вас в квартире при обыске. Кем исполнен этот текст?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Как этот текст, адресованный «Наташе», оказался у вас в квартире, не являетесь ли вы автором текста и не адресован ли он вашей жене Эклер Наталье Евгеньевне?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В предъявленном вам тексте говорится: «Мы — страна слепоглухих. Лишь то, что доступно осязанию, составляет наши знания о мире. Мы и себя-то знаем наощупь». Далее: «Нужно написать методику сбора материалов. Нужно сказать, в каких условиях оказывается любой задумавшийся и ищущий» и там же: «попробуйте отнять привилегии у партийной бюрократии — долго ли продержится система? Да ни единого дня! В правящей структуре никого не останется, все разбегутся по артелям, да в снабженцы, да за прилавок». Чем вы можете объяснить столь разительное сходство приведенных выдержек из двух рукописных текстов, предъявленных вам, с тем, что вами написано в статьях «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» и «Последняя надежда выжить»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на одном листе белой стандартной бумаги, исполненный красным красителем, начинающийся со слов: «Дефицит как принцип власти. Сухарики к пиву» и заканчивающийся словами: «при открытом рынке этих условий нет». Данный текст также изъят при обыске в вашей квартире. Кем он исполнен?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: В тексте говорится: «любая власть, для того, чтобы существовать, должна создать дефицит. Дефицит политических свобод. Дефицит выбора пути. Но для того, чтобы упрочиться, она должна этот дефицит расширить, сделать всеобъемлющим принципом. Только в условиях дефицита власть имеет возможность распределять по своему усмотрению. При открытом рынке таких условий нет». А как вы объясните совпадение этой выдержки с тем, что вами изложено в статье «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на 37 страницах белой стандартной бумаги, исполненный красителем синего и красного цвета. Текст начинается словами: «Ален Безансон. Краткий трактат по советологии, предназначенный для гражданских, военных и церковных властей. (1976 г. ВРХД №№118, 119)» и заканчивается: «Какая все это глупость! Партия и государство живут в обществе и за счет общества и одновременно развращают его и ассимилируются им идеологически. А Безансон попался на удочку, против которой сам предостерегал — партия и государство на практике вовсе не то же самое, что принимает образ реальности газетных передовиц и парадных докладов. И Брежнев в разных аудиториях говорит иногда противоположные по своему смыслу вещи. И в «Соснах» нет лозунгов». Этот текст также изъят у вас на квартире при обыске. Кем он исполнен и не написан ли вами?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: В данном тексте записано: «И в "Соснах" нет лозунгов». В своей статье, опубликованной в антисоветском журнале «Грани» № 120 в 1981 г. «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» вы пишете (страница 104 журнала): «Но село-то Уборы — оно отнюдь не затерялось в просторах, но находится в лучшем месте езды от столицы и между двумя самыми привилегированными санаториями страны, между "Соснами" и "Барвихой", а далее (страница 133 журнала): «но нету лозунгов ни в строгих коридорах обкомов партии, ни в здании ЦК, ни в санаториях, где отрешаются от повседневности высшие партийные чиновники».

Чем вы можете объяснить такое сходство в рукописи и написанной вами статье?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: На второй странице этого рукописного текста записано: «Вообще предположение, что нет рынка — неверно. При этом исходят из внешней видимости советской системы. Рынок существует, но стесненный демагогической доктриной, он принимает форму черного рынка». Приведенная выдержка текста также совпадает с изложенным в вашей статье «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать». Не является ли предъявленный вам рукописный текст наброском тезисов к упомянутой статье?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: На третьей странице той же рукописи говорится: «да и партийная бюрократия, эти хозяева страны, лишь на словах прикрывали рыночные отношения — т.е. отношения по поводу обмена благами — они прикрывали эти отношения лишь затем, чтобы под идеологической завесой развернуть во всю ширь отношения ч е р н о г о р ы н к а, то есть такие отношения, где можно спекулировать преимуществами, никакого отношения не имеющими к преимуществам экономическим: преимуществом власти, в первую очередь». А это совпадение со статьей «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» чем вы можете объяснить?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: В связи с тем, что столь явные совпадения дают основания считать вас автором рукописного текста, поясните, где, когда и от кого вы получили журнал «Вестник русского христианского движения» номера 118 и 119, издающийся в Париже, со статьей Безансона, и кому затем их передали?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: При том же обыске 19 марта сего года в вашей квартире были изъяты ксерокопии журналов «Вестник русского христианского движения» номера 127 и 128. От кого получили вы ксерокопии этих журналов?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на 19 листах белой стандартной бумаги, исполненный красителем черного цвета. Текст начинается со слов: «Ален Безансон. Краткий трактат по советологии, предназначенный для гражданских, военных и церковных властей. Вестник русского христианского движения. 1976, № 118, стр. 171-205» и заканчивается словами: «Кстати, не из Польши ли ждать главной беды всей системе? Адрес не такой уж неожиданный». Кем исполнен этот текст, и не являетесь ли вы его автором.

Ответ: Ответа не последовало.

Допрос производился с перерывом на обед с 12 часов 45 минут до 14 часов 40 минут и окончен в 17 часов 40 минут.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Заклученных Лефортовской тюрьмы в шесть утра будят надзиратели — громким стуком в дверь или криком в раскрытую вдруг кормушку: «Подъем! Подъем! Кончай ночевать!...» Но еще раньше будит далекий звук первого трамвая и плотный непрерывный вороний крик.

Я никогда прежде не был в районе тюрьмы и теперь, освободившись, все никак не соберусь туда съездить. Но знаю и так — и говорили, и из коридоров следственного корпуса видно — рядом парк, где-то недалеко есть еще и кладбище, на кладбище —

церковь, и иногда во время прогулки оттуда слышен мягкий звон, — и эки, вышагивающие или бегающие, или делающие зарядку в своих тесных прогулочных двориках, останавливаются и прислушиваются, да и те, кто в судьбе своей отчаялся настолько, что даже на прогулке перестал двигаться и сидит на лавочке потерянно, — и эти поднимают голову на церковный звон, прислушиваются...

Но громче всего, заглушая все, звучит вороний крик.

Ворона — главная птица для заключенного. По ней можно движение времени чувствовать: замолчали вороны — значит, день к концу, скоро отбой, закричали вороны — значит, вот-вот по тюремному коридору застучат кормушки и в твоей камере кормушка со стуком откинется и закаркает в нее надзиратель: «Подъем! Подъем! Подъем! Подъем!»

Я в общем-то хотел говорить о том, как много птицы значат в мире заключенного, — о воробьях, которых мы зимой, в лютые пермские морозы, подкармливали в слепенькое окошечко рабочей камеры внутрилагерного карцера, о синице, которой на зоне доставалось последнее сало из редкой и скудной эсковской посылки (посылка полагается только по прошествии половины срока, один раз в год, пять килограмм весом — если не лишит начальство. Запрещены в посылке: масло, колбаса, кофе-какао. Сало — можно).

Я хотел говорить о птицах, но и здесь вот ворона, главная птица, лезет вперед, заглушает всех других. В Лефортове ворона — лефортовский соловей, а привезут вас в пермский лагерь, в Кучино, и там прежде всего ворону услышите — кучинский соловей, как будто иной гармонии ээку и от начальства не положено.

Но бывали дни, когда и ворона радовала, трогала душу — не криком, нет — но самим своим существованием, тем, что вот она, жизнь, живая плоть.

В лагере в апреле, в марте ли — не помню точно, — в апреле, должно быть, две вороны стали вить гнездо на высокой березе. Вить, пожалуй, тут не точное слово: на самой верхушке голой еще березы они с к л а д ы в а л и свое гнездо, и весь небольшой наш лагерь, пятьдесят особо опасных государственных пре-

ступников — от двадцатилетнего Финкельштерна, посаженного за то, что, служа в армии, закричал как-то по пьянке своему командиру, что удерет в Израиль (восемь лет строгого режима: три — тюрьмы и пять — лагеря, за намерение шпионажа в пользу иностранной державы) и до восьмидесятилетнего Бутлерса, латышского крестьянина, мобилизованного некогда немцами (десять лет лагерей через тридцать лет после изгнания немцев) — весь наш особо опасный лагерь три раза в сутки ходил в столовую, возле которой росла береза, задрав головы, и следил, как продвигается воронье строительство и обменивался впечатлениями. Ни суда, ни следствия, ни многих лет за забором — только птицы на березе.

Все началось с трех толстых прутьев, положенных поперечно — фундамент!

Потом пошли прутья более мелкие, но видно было, что не просто внаброс кладутся, а с толком, вскрепу — оба, и он, и она, были хорошие строители, и кто-то видел, как они, скача по забору, таскали с промзоны тонкий провод в зеленой пластиковой изоляции — обмотанное этим проводом прутье не развалить никакому урагану.

Как только гнездо было готово, они, подменяя друг друга, принялись насиживать яйца, не слетая с гнезда даже в самые жестокие дожди и ветры, даже и в позднюю, уже по первым листьям, метель — вызывая этим наше эковское одобрение.

А вскоре береза зазеленела, гнездо скрылось из глаз — и что там с этой семьей было дальше — трудно сказать. Но в начале июня запрыгал по веткам соседних берез любопытный вороненок — их ли вороненок или из соседнего перелеска залетел чужой, а их — через заборы в перелесок улетел — кто знает? Птицы здесь свободно летают, по ним охрана не стреляет...

Зимой же главной птицей становится сорока — она как-то теруется летом, а зимой, на снегу, ярко видна, и видно, какая это красивая птица, какое у нее перо с радужным переливом... Особенно эта сорочья живописность видна тогда, когда долго просидишь в карцере, и месяц или полтора ничего, кроме темно-серых шершавых бетонных стен нет перед глазами, а выхо-

дишь — яркий снег, солнце, густая голубая тень от барака — и сорока на заборе, подвижная, веселая птица — и никакого ей нет дела до колючей проволоки, до охранника, скрючившегося от холода на своей вышке — и сорочьи перья переливаются на солнце. Хорошо!

Герб СССР

Всесоюзная Ордена Ленина

и ордена Трудового Красного знамени

Академия сельскохозяйственных наук

имени В.И.Ленина

Центральная Научная

Сельскохозяйственная библиотека

Старшему следователю

следственного отдела КГБ СССР

тов. Осину Н.И.

08.04.1985 № 22

На Ваш № 19-340 от 28.09.1985

Тимофеев Л.М. пользовался Центральной научной сельскохозяйственной библиотекой ВАСХНИЛ в 1977 и 1978 гг., что установлено по регистрационной тетради.

В 1977 году имел читательский билет № 25425 в читальном зале и № 2769 на абонименте.

В 1978 году имел читательский билет № 6864 в читальном зале и № 3056 на абонименте.

За давностью лет читательский формуляр и контрольные листки не сохранились, поэтому определить, как часто пользовался Тимофеев Л.М. библиотекой, не представляется возможным.

По тетради регистрации читателей, пользующихся спец.фондом, установлено, что в 1977 году Тимофеев Л.М. посетил читальный зал 2 раза: 2 июня 1977 года взял 12 книг; 3 июня 1977 года взял 6 книг.

Спецфонд ЦНСХБ работает с литературой «для служебного пользования» согласно «Инструкции о порядке учета, обращения и хранения документов, дел и изданий, содержащих несекретные сведения ограниченного распространения». М., 1974 г.

Представители других организаций допускаются к работе с изданиями «для служебного пользования» при наличии письменного запроса тех организаций, в которых они работают, с указанием темы работы и с разрешения дирекции библиотеки. Полученные разрешения действительны в течение года («Инструкция...» п.н. 5,4, стр. 12, 5,8 стр. 13).

За давностью времени (1977 год) отношение на Тимофеева Л.М. не сохранилось (срок отношений — 5 лет, требований читателей на литературу — 1 год), однако, в тетради учета читателей спецфонда имеется запись за 1977 год п.п. № 45,47 о том, что 2 июня Тимофеев Л. для получения книг предъявил отношение редакции журнала «Московский коммунист».

Просмотром книжных формуляров выявлены книги, которыми Тимофеев Л.М. пользовался. Список литературы прилагается (на двух листах).

Директор ЦНСХБ *А. Яйкова*

Замечание обвиняемого: Я не умею снять недоумение, которое возникнет у читателя, когда он сопоставит дату этого письма с датой самого первого документа дела, где говорится, что мое авторство уже тогда было вычислено с помощью материалов выдачи литературы в ЦНСХБ.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

гор. Москва

11 мая 1985 года

(Губинский допрашивает Тимофеева)
Допрос начат в 14 часов 40 минут

Вопрос: В процессе обыска 19 марта 1985 года у вас был обнаружен протокол Рязанского Государственного педагогического института о сдаче вами 15 июня 1963 года кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму с оценкой «отлично». Так оценен ваш ответ экзаменационной комиссией на вопрос «Исторический материализм как наука о законах развития общества». В эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» марксистско-ленинскую теорию вы называете «мертвящей доктриной» и утверждаете, что «марксистская философия в принципе отказывается видеть в наших жизнях, в нашем опыте сущность истории». Это свидетельствует о том, что вы при написании эссе допускали заведомую ложь. Поясните, с какой целью вы это делали?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: По сообщению редакции журнала «Молодой коммунист», в 1976 году вы были приняты кандидатом в члены КПСС. Это говорит о том, что, вступая в партию, вы стояли на марксистских принципах, полностью разделяя Устав КПСС. Почему же спустя два года вы стали собирать материалы для своего пасквиля «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», в котором возводите заведомую клевету на руководящую роль партии, ее внутреннюю политику?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: В журнале «Молодой коммунист» № 4 за 1976 год опубликовано интервью с доктором экономических наук Левиным Б.М., в котором вы, как корреспондент, говорите: «В последние годы произошел колоссальный подъем уровня жизни

советского человека, увеличилось разнообразие потребительских товаров и услуг, расширились возможности для нормального удовлетворения материальных потребностей наших современников». В своей же повести-очерке «Технология черного рынка...» вы заявляете: «Крупные же сельскохозяйственные предприятия (колхозы, совхозы) рассчитаны не на удовлетворение прямого спроса потребителей, но на товарное обеспечение обменной политики государства в интересах и для удобства партийной бюрократии — этой правящей структуры государства, охраняющей существующие порядки и себя вместе с ними». С какой целью вы в этом пасквиле допустили заведомую ложь и оклеветали советский государственный и общественный строй СССР, внутреннюю политику советского государства?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Как видно из текста очерка «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» и примечания к нему, опубликованного в антисоветском журнале «Грани» № 120, вы при написании этой работы использовали многочисленные источники. Вам предлагается дать показания по этому вопросу.

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: В названном примечании вы указали, в частности, что приведенные материалы в очерке опубликованы в брошюре-справке «О продаже и ценах на колхозных рынках», которую можно найти в спецхранах Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки ДСП № 3762». Из сообщения упомянутой библиотеки за № 22 от 8 апреля 1985 года следует, что в 1977-1978 годах вы пользовались книгами этой библиотеки, в их числе указанной брошюрой-справкой, а также другими изданиями, которые направлены в распоряжение следствия. Данные обстоятельства являются подтверждением вашего авторства враждебного сочинения «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать». Что вы можете показать в этой связи?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Подтверждением вашего авторства этого очерка является и изъятая во время обыска в вашей квартире литература, названная в примечании к очерку как использовавшиеся источники, в том числе: Г.В.Дьячков «Общественное и личное в колхозах», В.Н.Шубкин «Социологические опыты», И.В.Сталин «Вопросы ленинизма» и другие. Подтверждаете ли вы свое авторство названного сочинения «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство годоватъ»?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Обстоятельством, указывающим на то, что вы пользовались литературой Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки при написании «Технологии черного рынка...», является и изъятая у вас при обыске фотокопия из брошюры «Современная сибирская деревня. Некоторые проблемы социального развития» со статьей Р.В.Рывкиной «Мнения руководителей сельского хозяйства о происшедших и будущих изменениях деревни» с регистрационным номером этой библиотеки «76-24349». Одноименная брошюра с тем же регистрационным номером поступила в распоряжение следствия из названной библиотеки. Что вы можете показать в этой связи?

Ответ: Не последовало.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО:

В окна лефортовских камер вставлено не стекло, а непрозрачный, как бы покрытый морозным узором пластик — в солнечные дни в небольшой камере на троих довольно светло, и если камера на южную сторону, то заметно, как солнечное прямоугольное пятно перемещается по стене, — но прямых солнечных лучей нет, самого солнца нет.

Нет его и на прогулке — стены прогулочных дворики высоки, сами дворики маленькие, с ту же камеру размером, редко чуть больше, гулять же надзиратели стремятся вывести пораньше, начинают прогулки еще до завтрака — чтобы пораньше, к обеду, «прогулять» всю тюрьму и самим пораньше осво-

бодиться и сесть играть в домино во внутреннем тюремном двореке. (И будут играть до ночи, и сменятся, и придут другие, и тоже сядут играть, и при этом станут так стучать фишками, что не дадут спать измученным обитателям тех камер, что выходят окнами во двор.)

Понятно, что утром в тюремном двореке солнце освещает только-только верхушку трехметровой стены да еще колючую проволоку, которой забрано все пространство над головой. Этот проволочный потолок в крупную колючую клетку — «небо в арифметику» — сооружение совершенно бессмысленное, поскольку на три метра все равно не подпрыгнешь, да и надзиратель ходит по мостику над головой, смотрит, — но действует психологически: одного раздражает, другого давит, третьего и вовсе подавляет. Вот этой-то паучьей сети над головой и достается все утреннее солнце, о котором внизу с тоской мечтает заключенный.

Меня арестовали в марте, и первые месяцы я вообще не видел солнца. Но в начале июня установились ясные дни, прогулки случались иногда и ближе к полудню, когда солнце уже заглядывало и вглубь прогулочного дворика, и можно было скинуть рубаху и майку, и тоскующее бледное тело прямо-таки ошутимо впитывало солнечное тепло и радиацию.

Прогулка — главное событие дня.

Через пару месяцев я научился скандалить, если вызов к следователю грозил сорвать прогулку, и, бывало, добивался, что меня водили гулять и одного, если к моему возвращению с допроса сокамерники уже погуляли.

В середине июня, в июле было и вовсе хорошо: мне была назначена судебно-психиатрическая экспертиза в Институте им. Сербского (в знаменитых «Серпах», куда обязательно возят всех политических и где выбирают, срок ли дать в лагерь или без срока — в спецпсихушку), а там прогулочные дворики побольше — с травкой, с цветочной клумбой, со скамеечками возле дачного столика — и прогулка чуть побольше тюремной — полтора часа. И хотя не каждый день выпускали на прогулку, а всего два раза в неделю, но общее количество поглощенного солнца было намного больше: оголившись до пояса, а то и до

трусов все эти полтора часа эски оздоравливались: кто бегал по круговой асфальтовой дорожке, кто делал зарядку, а кто и просто лежал на лавочке, загорал. Я даже начал если не темнеть, то розоветь за те шесть-семь солнечных прогулок, что выдались на мою долю за тридцать пять экспертизных дней.

Остаток лета — снова в Лефортове — я провел в одной камере с весьма привилегированным узником — с сильно проворовавшимся бывшим министром из Узбекистана, и его, а значит, и нас, его сокамерников, выводили гулять поближе к полудню, и тут я опять хватил немного солнца — так что за лето я все же чуть загорел, и осенью в бане верхняя половина тела была чуть темнее нижней.

Говорят, солнечные лучи способствуют образованию в человеческом организме какого-то важного витамина, влияющего на целостность зубов и волос, на остроту зрения. Не знаю. Но моего тюремного загара, видно, было недостаточно: уже в декабре, когда я приехал в лагерь, у меня тут же выкрошились зубы — и один, и второй — и зрение ослабло так, что пришлось заказывать новые очки.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

гор. Москва

13 мая 1985 года

(Губинский допрашивает Тимофеева)
Допрос начат в 10 часов 15 минут

Вопрос: В процессе сопоставительного осмотра очерка-повести «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» с текстами использованной вами литературы при ее написании установлено, что вы, дабы придать внешнюю правдивость своему клеветническому сочинению, заведомо занимались подтасовкой, фальсификацией и искажением смысла этой

литературы, тенденциозно подбирали выдержки и цифры из нее, трактуя их в отрыве от основного смысла того или иного источника.

Что вы можете показать в этой связи?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Так, на странице 51 очерка «Технология черного рынка...», помещенного в антисоветском журнале «Грани» № 120, вы, рассматривая вопрос об оплате труда колхозников, привели из работы Г.В.Дьячкова, («Общественное и личное в колхозах» (издательство «Колос», Москва, 1968 год) следующую цитату: «В 1939 году около 16 тысяч колхозов не оплачивали труд в деньгах, 46 тысяч колхозов выдавали только по две копейки на трудодень, около 9 тысяч колхозов не выдавали зерна на трудодень», из чего сделали клеветнический вывод как о свидетельстве будто бы преднамеренной «грабительской» политики государства по отношению к крестьянам. В то время как Г.В.Дьячков говорит совершенно об ином — об объективных причинах такого положения с оплатой труда колхозников, подчеркивает, что в период становления колхозного строя это было вполне обосновано, так как во многих колхозах основным источником дохода еще оставался колхозный двор, а производительность общественного труда оставалась низкой.

Вам предъявляется указанная книга Г.В.Дьячкова и ксерокопия изготовленного вами очерка «Технология черного рынка...» Поясните, с какой целью вы допустили приведенные клеветнические измышления на политику Советского государства по отношению к крестьянам?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: На странице 71 вы цитируете И.В.Сталина: «средняя выдача зерна в зерновых районах на один колхозный двор поднялась с 61 пуда в 1933 году до 144 пудов в 1937 году», указывая, что это является подтверждением тому, что будто бы «...с самого начала сплошной коллективизации, с первых дней колхозной системы "пролетарское государство" оставило крестьян на произвол судьбы...»

Как видно из сборника «Вопросы ленинизма» И.В.Сталина (Госполитиздат, 1952 год, стр. 626), эти цифры подтверждают

обратное, то есть то, что продолжающийся подъем промышленности и сельского хозяйства в 30-х годах привел к новому росту материального обеспечения трудящихся. Эти цифры также являются подтверждением тому, что внутренняя политика Советского государства в указанный период времени была направлена на удовлетворение материальных потребностей тружеников села...

Вам предъявляется сборник «Вопросы ленинизма» и предлагается дать показания о цели допущенных вами извращений относительно политики Советского государства на селе.

Ответ: Не последовало.

Вопрос: На странице 72 очерка «Технология черного рынка...» вы в подтверждение того же тезиса приводите цифры об оплате труда колхозников, заявляя: «...И еще в 1963 году в стране были тысячи колхозов, где крестьянин получал за свой труд в течение года 6-7 пудов зерна и 10-15 рублей деньгами». Как видно, эти статистические данные взяты из книги «Коллектив колхозников» (издательство «Мысль», Москва, 1970 год, стр. 110), где они относятся всего к трем колхозам Орловской области и приведены в обоснование посылки авторов о том, что имеют место колебания в заработках колхозников в урожайные и неурожайные годы. 1963 год назван неурожайным, поэтому и цифры оплаты труда намного ниже, чем они были в предшествующие и последующие годы.

Таким образом, сделанный вами вывод в этой части не вытекает из использованного источника, то есть утверждать о тысячах колхозов по цифрам неурожайного года и относящимся всего к трем колхозам одной нечерноземной области противоречит объективному исследованию данного вопроса. К тому же говорить о 6-7 пудах зерна и 10-15 рублях деньгами как о сумме оплаты труда колхозников за год, без учета количества выработанных трудодней — дополнительное свидетельство необъективности и преднамеренного искажения действительности.

Вам предъявляется книга «Коллектив колхозников». Покажите, с какой целью вы сделали указанную подтасовку?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: На страницах 107-109 очерка «Технология черного рынка...» вы используете выдержку из книги П.Шелеста «Одна сельская семья. Штрихи к социальному портрету сельского рабочего 70-х годов» (издательство «Советская Россия», Москва, 1972 год, стр. 97) о расходах семьи Александровых на приобретение промтоваров (по автору, как свидетельство роста благосостояния в семье) и делаете клеветнический вывод о соответствии уровня жизни, уровня потребностей крестьянина в 70-х годах «...мелкотоварной, нищенской, докапиталистической форме хозяйствования, которая единственно возможна на приусадебных участках в условиях административных запретов на частную инициативу в широком масштабе, в условиях крепостнических земельных отношений, столь характерных для общества "развитого социализма"».

Вам предъявляется книга П.Шелеста. Покажите, разве это не является подтверждением вашего умышленного истолкования любых данных в ущерб их объективности, с целью возведения злобных клеветнических измышлений на существующий в СССР государственный и общественный строй?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: К тому же методу фальсификации вы прибегли и в случае использования книги И.В.Староверова «Социально-демографические проблемы деревни» (издательство «Наука», Москва, 1975 год, стр. 125-130), в которой автор, анализируя один из мотивов миграции из села — «неудовлетворенность отношениями с руководством», однозначно указывает на то, что она является следствием, с одной стороны, «...становления и возмужания молодых людей, роста их самосознания и желания самоутверждения, приобретения авторитета, что вызывает повышенную реакцию индивида на отношение к нему со стороны коллектива и его руководителей, потребность в уважении», а с другой — «...со стороны коллектива и его лидеров имеется повышенная требовательность к молодому человеку наиболее самостоятельной возрастной категории...» (стр. 129-130).

Вы же в очерке «Технология черного рынка...», пользуясь статистическими данными исследования В.И.Старовойтовой, с целью возведения клеветнических измышлений о советской действительности, заведомо игнорируете указанные пояснения автора и делаете следующий категорический заведомо для вас ложный вывод: «Примерно пятеро из каждой сотни взрослых мигрантов из села — бегут от гнева начальства» (стр. 105 журнала «Грани» № 120), которых изображаете в качестве «могущественных заместителей государственной власти», недоступных рядовому колхознику, заявляя: «...к председателю колхоза со своими нуждами не подступись — он тебя в упор не видит, ему некогда, его в райкоме ждут. А возвысь голос до протеста — он тебя размажет между ладоней...»

Вам предъявляется названная книга В.И.Старовойтовой. Как вы можете пояснить свою фальсификацию?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: На странице 128 очерка «Технология черного рынка...» вы приводите специально выдернутые из текста две выдержки работы Р.В.Рывкиной «Мнения руководителей сельского хозяйства о происшедших и будущих изменениях деревни», изданной в Новосибирске в 1975 году, а именно: «из 545 высказываний только 15 содержат общую оценку происшедших и ожидаемых изменений...» Затем у Рывкиной следует (вами специально пропущено): «(не изменилось-изменилось, существенно-несущественно, изменится через 10-15 лет — не изменится) остальные 530 представляют собой перечень тех сторон деревни, которые, по мнению руководителей, изменились или должны измениться через 10-15 лет, в том числе 307 высказываний относится к прошлым изменениям, 223 — к будущим. Малое число общих оценок изменений деревни позволяет сделать вывод, что руководители скорее склонны к анализу конкретных явлений сельской жизни, чем к обсуждению общих вопросов о масштабе социально-экономических изменений деревни, их глубины и значении». После этого Рывкина пишет: «Ответы руководителей затрагивают, по существу, все наиболее важные стороны жизни современной деревни». Почему же

вы не привели полностью эти выдержки из работы Рывкиной в своей повести-очерке «Технология черного рынка...»

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Приведя эти две выдержки из текста работы Рывкиной, вы клеветнически заявляете: «Партийные и хозяйственные руководители... даже сами не понимают, откуда берутся их привилегии, каким образом попадают продукты в их распределитель, как оплачиваются их должностные льготы. Они не знают и не понимают общества, которым руководят». Более того, ниже еще более беззастенчиво клеветаете, заявляя будто бы «безответственность, кажется, стала основной чертой хозяйственной политики правящего класса».

Дайте свои пояснения по существу этих сделанных вами клеветнических заявлений.

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Там же, на стр. 128 своего пасквиля, опубликованного в антисоветском журнале «Грани» № 120 (и глава восьмая которого помещена в журнале НТС «Посев» № 12 за 1981 год), вы пишете: «9/10 из них (партийных и хозяйственных руководителей. — *Примечание следователя*) считают, например, что через несколько лет приусадебное хозяйство колхозников уменьшится в объеме или вовсе отомрет» и комментируете: «Но что же они тогда есть-то будут? Они над этим не задумываются — знают, что пока за ними власть, будут есть и досыта». Вместе с тем Рывкина в своем исследовании приводит мнения не вообще руководителей, как это делаете в целях дискредитации вы, а по опросу в 1971 году только 93-х «партийных, советских и хозяйственных руководителей, живущих и работающих в деревне», которые, как пишет Рывкина, «На вопрос, какие изменения произойдут с личным подсобным хозяйством через 10-15 лет... высказали три точки зрения: 1 — останется таким же (12%), 2 — уменьшится и изменит свой облик (74%), 3 — отомрет (12%)». Далее автор приводит основные доводы руководителей в пользу каждого из этих мнений и на странице 101 пишет: «в целом первая и вторая точка зрения, прогнозирующие сохранение личного подсобного хозяйства в современном виде и (или) его уменьшение, имеют более серьез-

ное обоснование, чем последняя». Вы же в своем пасквиле игнорируете данный вывод Рывкиной и упор делаете на менее серьезно аргументированную последнюю точку зрения. Почему вы столь необъективно использовали материалы исследования Рывкиной?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Эти, приведенные вам, и другие факты фальсификации действительности свидетельствуют о необъективном, предвзятом использовании вами первоисточников для того, чтобы придать внешнюю правдивость возводимым вами заведомо ложных, клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, руководящую роль КПСС, ее внутреннюю политику. Дайте свои пояснения, с какой целью вы распространяли этот свой пасквиль «Технология черного рынка...», который столь охотно был напечатан в журналах «Посев», «Грани» зарубежной антисоветской организации НТС, ставящей задачу свержения советской власти и изменения существующего у нас в стране строя, и использовался другими враждебными подрывными центрами Запада в ущерб СССР?

Ответ: Ответа не последовало.

Допрос производился с перерывом на обед с 12 часов 20 минут до 14 часов 45 минут и окончен в 16 часов 30 минут.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

В Лефортово меня много бросали по камерам и я посидел со многими сокамерниками, арестованными по уголовным статьям. Среди них были и министр, и бывший полковник милиции, и университетский доктор технических наук, и веселый азербайджанец-мошенник, и неудачливый унылый фарцовщик. Всех их роднило одно: хотя они постоянно ругали своих следователей, своих преследователей, все-таки они их уважали — и поменялись бы с ними местами с великим удовольствием (а некоторые и занимали подобные места прежде, до ареста). Поругивали они и государственные, и общественные порядки, но в

целом, эти проблемы их мало занимали. Значительно больше их тревожило собственное положение.

Их мучила совесть. Но это не были высокие мучения совести, когда человек в отчаянии сравнивает свою жизнь с идеалом, — нет, это были весьма частные всплески нравственного чувства, заставляющие всхлипывать и стонать: «Как я ошибся! Если бы время вернуть обратно!»

Узбекский министр хлопкообрабатывающей промышленности Вахаб Усманов, с которым я провел в камере два месяца (впоследствии, будучи уже в лагере, я узнал из газет, что он приговорен к расстрелу), в заключении совершенно опустил: то он целыми днями лежал, отвернувшись к стене, стонал, плакал, то мы, его сокамерники, должны были по его просьбе по нескольку раз в день пытаться угадать, какой приговор его ждет. То есть даже не какой приговор, а какой срок — о расстреле, понятно, и вспоминать нельзя было.

Мы придумали специальную игру: по счету «три!» на пальцах выбрасывали какое-нибудь число, и Вахаб, пересчитывая мои выпрямленные пальцы и пальцы нашего третьего сокамерника, или заряжался надеждой, если выходило не больше семи-восьми лет, или впадал в полное уныние и становился всерьез зол и раздражителен, если получалось больше десяти лет. Мы старались беречь его и по многу ему не о т п у с к а л и.

Его настроение сильно зависело и от того, с какой интонацией и какой по чину следователь вел последний допрос. Когда где-то там, в недрах следственного корпуса, куда его уводили почти ежедневно, с ним разговаривал какой-нибудь генерал от юстиции, — скажем, начальник следственного отдела прокуратуры или его заместитель — Вахаб возвращался в камеру веселый и обнадеженный: раз им занимается такой высокий чин, значит, ему придают большое значение, значит, еще и он «наверху», причислен к тому же разряду, что и сам генерал, с которым он, кажется, был знаком еще на воле, — и он надеялся, что ворон ворону глаз не выклюет...

Когда же шли обычные, рабочие допросы, которые вели разные там капитаны и майоры, когда приходилось сдавать припрятанные драгоценности, принимать на себя все новые эпизо-

ды со взятками и хищениями, он падал духом, начинал часто вызывать тюремного фельдшера, просить сердечные капли.

Если ему казалось, что дела его идут совсем плохо, он вспоминал, что отец его — мусульманин, а дед был даже духовным лицом — и начинал громко и гортанно молиться. Молитвенное настроение продолжалось до следующего визита генерала. Генерал, видимо, обнадеживал, и Вахаб возвращался повеселевший, свое молитвенное состояние вспоминал с улыбкой и об Аллахе говорил чуть не покровительственно, как о знакомом министре соседней республики.

Когда Вахаб был весел и разговорчив, то особенно охотно говорил о других высокопоставленных узбеках, которые были арестованы по обвинению в коррупции и о которых он какими-то путями узнавал — через следователя или от своих подельников во время очных ставок, — что они тоже тут, в Лефортове. Так он, радостно потирая руки, говаривал, что, всего скорее, расстреляют бывшего первого секретаря Бухарского обкома партии: «На нем пять миллионов!» — говорил Вахаб и растопыривал свою короткопалую пятерню. (Опять-таки впоследствии, от кого-то из его мелких подельников, с кем разговаривался через перегородку в «воронке», я узнал, что на самом Усманове было д е с я т ь миллионов, — я представил себе две его растопыренные пятерни.)

В камере у Вахаба было только два занятия: он или играл в шахматы — до десяти партий в день, или писал доносы, — говорят, он повязал вслед за собой человек четыреста. Доносил он на всех, кто когда-то ему давал или кому он давал. Все по его доносам оказались взяточниками и ворами — начиная от председателей колхозов, с которыми он имел дело, и кончая первыми секретарями ЦК парии Узбекистана — и, умершим, Рашидовым, и живым, Усманходжаевым. (Не это ли, последнее, обстоятельство, и решило судьбу Вахаба. Генерал появлялся всегда после особенно важных доносов.)

По-русски Усманов писал и говорил плохо, и писать доносы помогал ему с подозрительной готовностью наш третий сокамерник, некий «технический интеллигент со степенью», сидевший за фиктивные договора и взятки, каким-то образом завя-

занные с иностранцами. На прогулках этот «доброхот» и Усманов тихо переговаривались, отойдя от меня в дальний угол дворика, — хотя в камере мы жили довольно дружно, и передачами поровну делились, и ларек заказывали в один общий котел, — но при всем при том считалось, что я — чужой. Они — хоть и воры, хоть и провинившиеся, хоть и уголовники (так они себя, сожалея, — «с кем не бывает!» — но все же признавали) — советские люди, я же — отщепенец.

Я как-то было обиделся на их секреты, попытался протестовать, и тогда наш третий, «добровольный» усмановский помощник, спокойно объяснил мне, что, узнав содержание доносов, я могу нанести ущерб советской власти. Я, признаюсь, оторопел. Как именно я нанесу ущерб, это он не вполне представлял себе, поскольку ехать-то мне предстояло в лагерь строгого режима, потом в ссылку, но... вдруг как-то смогу.

Даже здесь, в камере тюрьмы, они были советские. Проводившись, ожидая приговоров, ругаясь со следователями — они были советские. А я — не советский. Чем же я-то нанесу ущерб? Тем, что буду г о в о р и т ь, тем, что раскрою некую советскую т а й н у. Их тайну. Ведь и они были руководителями страны — еще так недавно были.

— Зачем это тебе нужно? — спросил как-то не то Вахаб, не то «технарь».

— Что именно?

— Заниматься писаниной... В тюрьме вот сидишь...

У них в сознании была как бы картинка с фокусом: повернешь — есть человек, еще повернешь — пустое пространство, исчез человек. Так вот в этом повороте картинки, где для них мир был полон благ, в картиночном мире, где они жили до ареста распорядителями благ, в этом мире было место и министру, и следователю, и уголовному преступнику, вору, и не было места мне — и только потому, что я мог раскрыть их некую о б щ у ю т а й н у.

— Зачем это тебе нужно?

И я действительно не умел ответить на этот вопрос так, чтобы они меня поняли. И не знаю, отвечает ли на него эта моя книга. Это ведь как повернешь картинку...

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

гор. Москва

27 мая 1985 года

(Подполковник Губинский и капитан Круглов — вдвоем допрашивают жену обвиняемого Экслер Н.Е.)

Допрос начат в 10 часов 45 минут.

Допрос окончен в 16 часов 20 минут.

Вопрос: Вам предъявляется изъятый 19.03.85 г. при обыске рукописный текст, начинающийся со слов: «Дм.П.Кончаловский «Пути России»...» Кому принадлежат данные записи и кем они исполнены?

Ответ: Эти записи исполнены мной и для меня лично, с какого издания — уже не помню, так как это писалось давно.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст, начинающийся со слов: «Континент № 20. Игорь Ефимов-Московский. Политические выгоды нищеты» и заканчивающийся словами: «...имперской стратегии». Кому они принадлежат и кем исполнены?

Ответ: Записи на некоторых листах (л.л. 3, 5, 6, 8, 10, 12) исполнены мной и опять-таки для себя — так как я хотела подумать над написанным. Они оказались вместе с записями мужа, так как исполнены с одного источника. Писалось это не для использования Тимофеевым Л.М. в его работах, а для собственного осмысления.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст, начинающийся со слов: «23 апреля. Наташа! Итак, путь...» и заканчивающийся словами: «Погуляю — и опять! Л.» Когда и кем исполнен данный текст?

Ответ: Данный текст представляет собой письмо Л.Тимофеева мне. Когда оно было написано и в связи с чем, я не помню.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст, начинающийся со слов: «Наташа! А вот еще...» Когда, кем и в связи с чем исполнен данный текст?

Ответ: Предъявленный текст мне незнаком. Когда и в связи с чем он написан моим мужем, я не помню.

В целом, первое из предъявленных мне писем, написано Тимофеевым Л.М. в связи с его впечатлениями от поездки на Кавказ.

Вопрос: В ходе обыска в вашей квартире 19.03.85 г. были изъяты многочисленные конспекты работ и комментариев к ним. Кому они принадлежат и в связи с чем написаны?

Ответ: Эти записи принадлежат моему мужу Тимофееву Л.М. и написаны им, но в связи с чем, сказать не могу, не знаю.

Вопрос: Во время работы в редакции журнала «Молодой коммунист» в 1976 г. Ваш муж был принят кандидатом в члены КПСС. В связи с чем ему было отказано в приеме в члены КПСС после окончания кандидатского стажа?

Ответ: Этот факт мне известен, но, как мне говорил Тимофеев Л.М., после какой-то докладной записки (я не помню, кто именно ее писал и о чем конкретно она была), ему было отказано в приеме в члены КПСС*. Кроме того, повлияли его несложившиеся отношения по месту работы.

Вопрос: Что вам известно о написании Тимофеевым Л.М. работ «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить».

Ответ: Кроме того, что названные работы написаны моим мужем — Тимофеевым Л.М. и писались им дома (он ни от кого не прятался), мне ничего не известно. Каким образом эти работы были переданы для публикации на Западе, я также не знаю.

Должна сказать, что основные идеи, которые были изложены Тимофеевым Л.М. в «Технологии черного рынка...», он из

* **Замечание обвиняемого:** Наташа не почувствовала провокационный характер вопроса: на самом деле мне не было отказано в приеме в КПСС по той одной причине, что я вообще не подавал заявления о приеме в партию после окончания кандидатского стажа — в то время я уже работал над «Технологией черного рынка...» и сама работа требовала от меня совсем иного общественного поведения.

ложил ранее в большом очерке (я не помню его названия), который он во время работы в редакции журнала «Молодой коммунист» пытался официально опубликовать в каком-то журнале — то ли в «Новом мире», то ли в «Дружбе народов». Работу его приняли, но затем в публикации отказали. Тогда Тимофеев Л.М. сократил эту работу и сделал попытку опубликовать в другом журнале (не знаю, в каком), но там ее также не приняли. Затем он еще сократил ее до двух столбцов газетного текста и отнес в редакцию газеты «Комсомольская правда». Работу приняли, и муж был счастлив, что его идеи могут быть публично высказаны. Это он считал очень важным для общественной мысли в то время. Свою публикацию он считал нужной не для того, чтобы «приобрести на этом имя», а для общественной пользы. Однако через некоторое время и в этой публикации в газете ему было отказано. О том, что это делалось не «для популярности» автора, свидетельствует и размер предполагаемой газетной (по сути) заметки, на которой не сделаешь себе «имени», даже если бы у мужа и было такое желание. А иных целей, кроме как довести свои мысли до читателя, он никогда и не преследовал.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

гор. Москва

29 мая 1985 года

(Губинский допрашивает Тимофеева)
Допрос начат в 10 часов 15 минут

Вопрос: Назовите лиц, у которых хранятся черновики или экземпляры ваших сочинений «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка. Роман в четырех письмах», «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности».

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: При обыске 19 марта 1985 года у вас в квартире были изъяты ксерокопии журнала «Вестник русского христианского движения» №№ 127 и 128, а также отдельные страницы из «Вестника русского христианского движения» № 132. Кому они принадлежат?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Кем изготовлены данные ксерокопии?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Вы получали сами журналы и с них снимали ксерокопии?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Вы регулярно получали названные журналы по мере их публикации на Западе?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Знакомили ли вы с содержанием названных журналов кого-либо?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: С какой целью вы хранили у себя на квартире ксерокопии журнала «Вестник русского христианского движения»?

Ответ: Не последовало.

Допрос производился с перерывом с 12 часов 45 минут до 14 часов 35 минут и окончен в 17 часов 35 минут.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

гор. Москва

11 июня 1985 года

(Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начат в 14 часов 25 минут.

Вопрос: Вам предъявляется зарубежный антисоветский журнал «Время и мы» № 79 за 1984 год с помещенной на его страницах пьесой-диалогом Льва Тимофеева «Москва. Моление о чаше».

Когда вами была написана эта «пьеса» и каким образом она оказалась на страницах названного зарубежного журнала?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В «пьесе» «Москва. Моление о чаше» описан диалог между двумя лицами — мужем и женой. Он в прошлом «известный советский журналист» и публицист, ранее писал стихи, оставил работу в редакции два года назад, за пять лет написал две книги, которые опубликовал под своим именем на Западе и в которых «исследовал» существующую в стране систему, жена у него не работает, имеет двух детей — девочек (одна школьница и носит крестик), в доме держат собаку, в личной библиотеке имеют словарь Брокгауза из 86 томов.

Вы также в прошлом были журналистом и публицистом, ранее писали стихи, в 1980 году уволились из редакции журнала «В мире книг», к этому времени написали и передали для публикации на Запад свой антисоветский пасквиль «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», а затем другое антисоветское «эссе» — «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности», под своим именем, в которых порочили советский государственный и общественный строй. Кроме того, у вас с женой (нигде не работающей) двое детей, из которых одна школьница и носит нательный крест, в доме вы держали собаку, а в личной библиотеке имели энциклопедический словарь под редакцией Брокгауза и Эфрона в 86 томах. Все это свидетельствует о том, что данная пьеса-диалог имеет автобиографический характер и ее автором являетесь вы. Подтверждаете ли вы это?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Что ваша «пьеса-диалог» имеет автобиографический характер говорит и то обстоятельство, что ее герой, в написанной и опубликованной на Западе книге, говорит о старушке, которая молится на портрет основателя советского государства. Вы в своем опубликованном антисоветском пасквили «Технология черного рынка...» также описываете сцену, когда старушка (Ховрачева Аксинья Егорьевна) молится на такой же портрет. Как иначе вы можете это объяснить?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Героиня пьесы-диалога, болезненная женщина, ушла из журнала, где хорошо писала, нигде не работает, хорошо лепит из глины. Ваша жена — Экслер Наталья Евгеньевна в настоящее время домохозяйка, ранее работала театроведом, писала статьи; как показала на допросе 22 мая свидетель Р-я (следует фамилия, инициалы), лепные изделия вашей жены ей очень понравились. Кроме того, свидетель Б-а (фамилия, инициалы) показала, что ее дочери Ане было непонятно то, что Соня (ваша дочь) «носит крестик и верит в бога» (*орфография подлинника*). Все это еще раз доказывает то, что данная пьеса-диалог носит автобиографический характер и ее автором являетесь вы. Станете ли вы это отрицать?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: В пьесе-диалоге Она говорит: «За каждое слово пророк отвечает сам, и ты готов отвечать... Вот только я забыла, пророку полагаются жена и дети? Жена и дети за что отвечают?.. Я высчитываю копейки, чтобы купить детям горсть ягод или поношенные ботиночки... Ты нами расплачиваешься... Ты не пророк, ты эгоист, мелкий, тщеславный... Ты встал в позу, ты уже придумал сообщение: «Как передают западные корреспонденты из Москвы, здесь арестован...» Вокруг тебя сияние... Ты говоришь стихами... А как же я? А дети?»

На допросе 20 марта сего года свидетель К-в (здесь и впредь в подобных случаях — фамилия и инициалы. — Л. Т.) показал, что 17 марта 1985 года вы у себя дома включали транзисторный приемник и пытались слушать зарубежные радиостанции, ведущие передачи на Советский Союз.

Свидетель Н-я на допросе 6 июня с.г. показала: «После ареста Левы Наташа говорила, что она во время работы мужа над каким-то произведением неоднократно убеждала его прекратить работу над ним, предупреждала, что это добром не кончится, однако он на ее слова не реагировал. По словам дочери, она плакала, умоляла его прекратить это опасное занятие, но все было безрезультатно. Наташа так мне говорила, что если бы Лева не передал эту книгу, то есть написанное им сочинение, за границу, то ему бы ничего не было, он нормально жил бы с семьей, а своей писаниной он добился только ареста».

Что вы можете сказать относительно приведенных вам показаний свидетелей, которые повторяют написанное вами в пьесе?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Из содержания написанной вами пьесы «Москва. Моление о чаше» видно, что вы сознавали преступный характер ваших действий, выразившихся в изготовлении и публикации за границей литературы, содержащей заведомо ложные, клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, к каким относятся данная пьеса-диалог, повесть-очерк «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить». Подтверждаете ли вы это?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В данной пьесе вы, как и в других названных выше сочинениях, опубликованных на Западе, с враждебных позиций возводите злобную клевету на государственный и общественный строй в СССР, именуя его «нечеловеческой системой» (страница 18 журнала «Время и мы» № 69), утверждая, что в нашей стране якобы действует «закон социализма: не украдешь — не проживешь» (стр. 24), общество проникнуто ложью, со стороны государственных органов будто бы чинится незаконное, допускаете оскорбления в адрес руководителей партии и правительства (стр. 11). С какой целью вы распространили столь злобные клеветнические измышления и совершили эти противоправные преступные деяния?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Совершив указанные преступные деяния и боясь ответственности за содеянное, как это видно из содержания «пьесы-диалога», вы вынашивали намерение выехать за границу, рассчитывали обеспечить свое благополучие за счет денег, добытых преступным путем в виде гонораров за свои антисоветские пасквилы и вместе с тем намеревались продолжить антисоветскую деятельность, направленную в ущерб СССР. Что вы можете показать в этой связи?

Ответ: Нет ответа.

Допрос окончен в 16 часов 10 минут.

Начальнику группы следственного отдела КГБ
подполковнику Губинскому А.Г.
от подследственного Тимофеева Льва Мих.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Вчера, 11 июня с.г. вы во время допроса грубо и неквалифицированно идентифицировали меня, автора пьесы «Москва. Моление о чаше», с героями этой пьесы. При этом вы приписали мне те самые нравственные изъяны, которыми я, как автор, наделил литературного героя. Каждому, мало-мальски знакомому с основами литературоведения понятно, что при таких методах анализа, когда литературное произведение понимается как самооговор автора, Достоевский, как автор «Записок из Мертвого дома», и Толстой, как автор повести «Дьявол», должны быть обвинены в убийстве, так как оба эти произведения имеют автобиографические черты.

В связи с выявившейся таким образом некомпетентностью следствия настаиваю на проведении литературоведческой экспертизы, где, среди прочего, должен быть выяснен вопрос о принципиальной возможности в рамках уголовного дела идентифицировать личность автора и персонажа литературного произведения.

Прошу приобщить мое заявление к делу.

12 июня 1985 г.

Лев Тимофеев

(Заявление об экспертизе оставлено без ответа. — Л.Т.)

ПРОТОКОЛ допроса свидетеля

15 июля 1985 г.

г. Москва

(Капитан Круглов допрашивает Экслер Н.Е.)

Допрос начат в 14 часов 00 минут.

Допрос окончен в 16 часов 25 минут.

Вопрос: В журнале «Время и мы» № 79 за 1984 год опубликована «пьеса-диалог» Льва Тимофеева «Москва. Моление о чаше». Что вам известно об обстоятельствах ее написания, и насколько события, о которых упоминает в пьесе автор, соответствуют действительности?

Ответ: Автором «пьесы-диалога» «Москва. Моление о чаше» является мой муж, Тимофеев Лев Михайлович. В какое время он написал эту работу, я не помню, но работа писалась у нас дома. В этой работе, действительно, Тимофеев Л.М. использовал отдельные факты из своей и моей биографии. Однако в целом эта пьеса носит лишь автобиографические мотивы и нельзя сказать, что она во всем соответствует тем событиям, которые происходили в действительности. Тем более, это касается ряда эпизодов с упоминаемыми «третьими» лицами.

В связи с моим плохим самочувствием прошу допрос перенести на другое время.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Когда я при аресте уходил из дома, когда меня у в о д и л и из дома, я плохо знал, что нужно взять с собой. Жена положила в сумку мыло, зубную щетку, пару носков. Я посомневался, можно ли взять какие-нибудь книги, но кагебешник, распорядившийся арестом, сказал, что книги можно будет передать потом (и соврал, конечно). Но Евангелие я все же взял — удобное карманное издание, еще дореволюционное, с лиловым

штампом «На память от Коломенского земства» — оно много лет со мной было и дома, и в командировках.

Это Евангелие было у меня отнято почти сразу же, часа через три-четыре после того, как меня привезли в Лефортовскую тюрьму. Сказали, что я смогу получить его через следователя — так это у них было рассчитано...

Тогда же, при первом обыске в тюрьме, у меня отобрали маленький серебряный нательный крестик. Или даже нет, крестик отобрали не во время самого обыска, а минут через десять-пятнадцать, когда повели в баню. Обыск-то проводили младшие чины, прапорщики, которые по бороде моей, видимо, приняли меня за священника, и что-то, должно быть, дернулось в их душах, не посмели снять крест. В бане же, когда я уже стоял голый, налетел какой-то младший офицер с нарукавной повязкой ДПНСИ (дежурный помощник начальника следственного изолятора), обругал прапорщиков — крестик сняли, сказали, что они люди подчиненные, что существуют положения, по которым в камере запрещены металлические предметы, но что если будет ходатайство следователя... А следователь чего ради будет за меня ходатайствовать?

Так и остался я без крестика и без Евангелия... Но все-таки следователю я об этих изъятиях сказал и спросил, нельзя ли получить обратно. В то время следователь еще, видно, надеялся установить со мной какие-то выгодные для него отношения — на каждом почти допросе он, как бы невзначай, заговаривал о людях, которые, оказавшись в моем положении, все же отделялись легким испугом, признавая свою вину и раскаиваясь, — или год-другой ссылки получали, или пару лет в психушке общего типа отсиживались — читай, пиши, получай свидания — и выходили на волю, и уезжали за границу... Вот ведь я арестован, идут допросы, а западные радиостанции продолжают передавать мои очерки и статьи, так не хочу ли я воспользоваться авторским правом и хотя бы приостановить передачи?..

Так или иначе, он написал специальное письмо начальнику тюрьмы, в котором якобы ходатайствовал о разрешении мне иметь в камере крестик и Евангелие. Но увы... начальник тюрьмы дней через пять ответил отказом, сославшись на какие-то

инструкции. Следовательно как бы даже несколько огорчился... и тут же нашел выход из положения: поскольку Евангелие передано ему, он будет давать читать здесь, в кабинете...

Конечно, все это разыгрывалось как комедия. Я должен был почувствовать искреннюю душевную расположенность следователя ко мне, его готовность помочь. Он надеялся на установление человеческих отношений. Он — человек, я — человек, мы — люди. Чего же не найти общий язык?

Но нет. Это все было совсем не так. Не то, что я его за человека не считал — нет! Просто мир его был для меня за чертой. Это был потусторонний мир. Это как картинка с фокусом: посмотришь с одной стороны — есть человек, посмотришь с другой — нет никого. Пустая комната. Вот так вот в мире, где есть крест, Евангелие, молитвы — нет ни следователя, ни офицерских чинов, ни вонючих тюремных коридоров. И сама утрата (или обретение) и креста, и Евангелия не может быть связана с ними иначе как только механически — их руки забрали, по этому коридору унесли. Но суть утраты заключалась в том, что утрата мне была значена. Точно так обретение Евангелия означало только то, что мне дано обратиться к Слову. И я обратился...

Я довольно много выписал — скажем, переписал всю Нагорную проповедь целиком и, вспомнив монашеский труд переписчиков, готов был и дальше писать и писать... Но к тому времени следователь совершенно потерял терпение, а может, и вовсе надежду установить контакт со мной, стал раздражителен, его напускная вежливость все чаще стала слетать с него, и в конце концов он сказал, что его начальство не разрешает ему более предоставлять мне Евангелие... А мне и ладно, я уже к тому времени много переписал.

Скоро же к этим листочкам переписанного Слова прибавились иные тексты, Словом вдохновленные, — я имею в виду статьи и письма В.А.Жуковского, каким-то чудом сохранившиеся в тюремной библиотеке, — и в частности, потрясающая по своей просветленности «Внутренняя жизнь христианина». И все это было дано мне в тюремной камере...

Все эти записи были со мной более полугодом — я их и сам читал, и давал читать сокамерникам, и некоторые переписывали их себе и уносили с собой на этапы, в лагеря, вместе с обычными для каждого зэка бумажками, на которых начерчен план будущего дома и расчет прибыли от пасеки или теплички: каждый зэк мечтает по освобождении заняться строительством и хозяйством... И успокоиться душой.

Провез я эти записи по этапу, читал их в Пермской пересыльной тюрьме и окончательно утратил только при поступлении в лагерь: там у меня забрали все мои записи «на проверку» и отобрали теперь уже не металлический, а даже кипарисовый крестик, который на этап мне передали друзья. И больше я не видел ни записей, ни крестика — через некоторое время молодой опер с сонными глазами идиота прочитал мне акт, что-де, записи и крест уничтожены. «А как уничтожили?» — спросил я его. — «Сожгли».

И я подумал, что это хорошо, что они так боятся и Слова, и Креста: видимо, чувствуют, что там, где Слово и Крест — их нету. Тоже ведь понимать надо, они ведь тоже борются за выживание — слепые, слепыми ведомые...

РСФСР
Министерство просвещения
Рязанский городской отдел
народного образования
Ордена «Знак почета»
школа № 2 им. Крупской

14 июня 1985 года

СПРАВКА

Дана настоящая в том, что по имеющимся в средней школе № 2 г. Рязани архивным данным Солженицын А.И. был принят в школу с 25 августа 1957 г. (приказ Рязанского горсовета № 51 от 26/8-57 г.) учителем астрономии и проработал здесь до 25 декабря 1962 года.

Директор школы
Т. Варнавская

СПРАВКА

Дана настоящая в том, что по имеющимся архивным данным в средней школе № 2 г. Рязани в 1956/1957 учебном году в 9-В классе обучалась Экслер Наталья Евгеньевна, 1940 года рождения, проживавшая по адресу: г. Рязань, ул. Каляева д. 43 кв. 1.

По окончании 9 класса переведена в 10 класс.

Директор школы
Т. Варнавская

Уважаемый Александр Исаевич!

Очень давно, в 1958 году, я училась в Рязани, в 10 классе, во 2-й средней школе. В нашем классе Вы преподавали астрономию.

Я помню, как Вы в первый раз вошли в наш класс в сопровождении директора школы.

Я слышала, конечно, до этого, что в школе появился учитель «из лагерей», но для меня значение этого было так смутно, что, пожалуй, я была готова к появлению где-то в коридорах школы человека в полосатой одежде немецких концлагерей. И когда Вы вошли в класс, то на этом и кончилось то смутное дурацкое ожидание встречи. И то, что вы «из лагерей» — это сведение осталось как-то ни к чему. Жили мы с мамой вдвоем, переезжали из города в город, из театра в театр, все связи с родными были потеряны, и хоть мама и говорила, что кто-то из родных «сидел» и кто-то из знакомых «сидел», но понять хоть что-то из ее рассказа было невозможно — ни понять, ни почувствовать — поэтому личной боли, личной тайны не было, не было и желания знать, вопросов не было (да и кто бы ответил на эти вопросы?)

Потом меня расспрашивали, какой Вы?

Я рассказывала, как Вы впервые вошли в наш класс... Малость моего рассказа смущала слушателей: за ним ничего нет — учитель и плохая ученица. Спрашивали, что рассказывали Вы нам о лагере и что читали нам из своих произведений (?!!) Раздражала слушателей моя тупость — мне говорили: «Как вы могли плохо учиться у такого человека? Как можно было не понять, не почувствовать, у кого учишься?» Видимо, если бы я была отличницей по астрономии, то это бы хоть как-то уравновешивало ожидания.

Смущало и несоответствие судьбы: ведь дано же было это знакомство — ну и что? Это раздражало. Отзвука как бы не было. Я и сама думала: зачем же это было, если нет отзвука? Для чего было?

И вот как аукнулось.

Мой муж, Тимофеев Лев Михайлович, написал большой очерк о жизни русской деревни и пытался его опубликовать. Очерк вроде бы нравился, но его не брали, не взяли в одном толстом журнале, в другом. Лева показал очерк в тонком журнале, там тоже понравился, сказали сократить. Лева сократил. Не взяли. Показал в газете — там собирались сделать большую публикацию на два номера. Не пошло. Сказали сократить. Сокращал, сокращал. Осталось тезисов два столбца. Это все тянулось долго невозможно. Каждое сокращение через левины муки. Я возмутилась, увидев, что в результате у него осталось. Но он сказал, что я ничего не понимаю, что важно опубликовать хоть два столбца, а потом, зацепившись за них, пройдет весь очерк, что два столбца — это очень важно, хоть ему еще не все ясно в самой проблеме.

Столбцы набрали, но уже из номера сняли, а Лева объяснили, что «наверху» кто-то сказал, что если «это» напечатать, тогда за что же редакция получает зарплату?

Лева работал в журнале «Молодой коммунист». И вот в этот момент появилась идея, что ему надо вступить в партию — он долго работал в журнале, и вроде бы неудобно уже было работать и не быть самому коммунистом — это была сторонняя идея, но он все больше и больше принимал ее — это как-то связывалось с его очерком — тогда напечатают, и вообще больше возможностей что-то делать.

Его приняли в кандидаты. Кто-то из знакомых перестал звонить и заходить, кто-то сочувствовал, как больному, кто-то утешал — куда денешься? Кто-то ободрял — теперь больше возможностей что-то делать; были и официальные идиотские «разговоры по душам», «партийно-искренний» тон, как с посвященным, — и Лева искренне удивлялся, что такие вообще могут быть.

А очерк все его мучил, и какие-то проблемы, затронутые в очерке, но не решенные еще, не продуманные, все возвращали его к нему. И он замучил меня экономическими разговорами. И

даже купил мне учебник политэкономии, чтобы я хоть что-то смыслила.

Ему казалось, что идеи эти носятся в воздухе, что где-то кем-то они уже высказаны, он сомневался, «не изобрел ли он велосипед».

И вот только-только его приняли в кандидаты, только стали утихать разговоры об этом, споры, полное неприятие или недоумение одних, уверенность других... К нам вдруг зашла соседка по дому — она захлопнула свою дверь, ей некуда было деваться, и она попросилась посидеть у нас.

Мы недавно жили в этой квартире, никого в доме еще не знали, ни с кем не были знакомы, но эта милая соседка как-то на улице подошла к нам — ей понравилась моя маленькая Сонька, вернее, не сама Соня, а ее имя, — оказалось, что у нашей соседки ее младшая любимая сестра Соня была неизлечимо больна... Потом у нас в семье отсчет времени так и значился: «Когда Гюзель захлопнула дверь».

Тогда все и аукнулось.

Поговорили о чем-то, я звала ее заходить к нам еще, но она сказала грустно, что они с мужем буквально на днях уезжают совсем... Тогда многие уезжали, и мне всегда это было больно. Гюзель сказала, что уезжать они не хотят, но вынуждены, но почему вынуждены, она говорить не хотела, разговор прекратила и заторопилась уходить. Я не отставала: «Почему вынуждены?» Она сердито спросила, хоть слышала ли я, что Солженицына выслали? Но продолжать не стала и сказала, чтобы отделаться: «Я вам потом расскажу». Когда? Если через неделю они уедут? И почти вдогонку я ей сказала, что я у Вас училась. И тут все повернулось.

У нее лицо стало другим, и она сказала, что ее муж — Андрей Амальрик.

Я слышала о нем. Один знакомый рассказывал о гнусном фильме об Амальрике. Что там было? «Да все скрытой камерой, видно плохо, все смазано, тускло, но гнусно ужасно». И после этого фильма, а его показывали в каком-то институте,

мой знакомый очень хотел прочесть, что же такого написал Амальрик, что за ним охотились со скрытой камерой.

Почему я тут же стала просить Гюзель познакомить Леву с Андреем? Почему я решила, что это необходимо для Левы? Не знаю. Знала — необходимо. Она отговаривалась занятостью, сборами, отъездом. Потом пообещала зайти вечером и ушла... Когда пришел Лева и я рассказала ему неожиданную новость, он страшно испугался. Сказал, что никуда не пойдет и ни с кем знакомиться не будет, что это провокация. Все подстроено. «Это не может быть, — говорил он каким-то угасшим голосом, — как ты не понимаешь, что это элементарная провокация». — «Для чего?» Я ревела, и было очень стыдно, я видела, что он действительно не пойдет, не сдвинется, так и будет сидеть и повторять, что это провокация. И свет в комнате был какой-то тусклый, и струганные доски лежали на полу — Лева собирался строить стеллаж в пустой пока квартире, и тоска такая была...

Почему я знала, что надо идти? Почему он так испугался?

Заглянула заплаканная Гюзель.

Лева сказал мне: «Только на десять минут». И мы пошли. Мы пробывали долго.

Это была их тайная квартира — они ее наняли по случаю у каких-то незнакомых людей и приезжали сюда только убедившись, что нет слежки. Здесь они были уверены, что к ним не нагрянут «с визитом», не поставят скрытую камеру.

Андрей никак не мог понять, почему Гюзель сказала мне, кто они такие. Почему? После их-то жизни, после такого опыта, после всего? Как она могла сказать совершенно незнакомым людям? Ей сильно попало.

Но ведь она и не мне сказала, она просто откликнулась на Ваше имя.

Ни Амальрику, ни потом, когда перед их отъездом мы познакомились у них с Юрием Орловым, — ни ему идеи Левы не показались так уж интересны. Или идеи эти были еще не продуманы до их теперешней ясности. Но дело было не в одобрении. Здесь оказался просто важен факт знакомства, факт общения — понимания того, что вот ведь есть люди, которые позволяют себе жить и думать свободно, независимо — вот они, с ними можно поговорить, до них можно дотронуться. Но самое главное было то, что Амальрик подарил нам «Архипелаг ГУЛаг». Так уж вовремя случился этот подарок, который и совсем освободил Леву.

Вот так все аукнулось.

И Лева начал работать над «Технологией черного рынка». Теперь он додумал все до конца. Проблема была ясна, ясен механизм «черного рынка», ясен механизм советской экономики. Но его еще долго мучило сомнение, не изобрел ли он велосипед, казалось тогда, что идеи эти должны носиться в воздухе и когда-то где-то должны уже быть высказаны. Но кому бы он ни показывал свою работу, об этом, главном, не говорили, предлагали свои какие-то идеи, которые казались им важнее, и советы давали от этих своих идей и словно не замечали проблем самой «Технологии...»

Муж очень нервничал. «Неужели непонятно? Не ясно?» А советы все шли и шли — от каждого свои — наболевшие, но никакого отношения к работе не имеющие. Он уже отчаялся получить адекватный отзыв... И вдруг он от кого-то узнал о Вашем очень добром, очень взволнованном отзыве о «Технологии черного рынка» — кому-то в частном письме пришел отзыв — это был самый счастливый день. Странно, но и здесь отзывы после этого изменились, словно всем что-то стало известно — работу стали понимать и советов уже не давали.

Для меня это было неожиданно, но после «Технологии», только закончив работу, Лева принял таинство крещения.

Так вот все аукнулось... И спасибо, что было мне дано быть на тех уроках астрономии, чтобы я просто помнила Вас и могла сказать, что помню.

Вот и все. Получилось так длинно, а я просто хотела сказать Вам, что помню Вас и что имя Ваше очень много значит в нашей жизни.

С уважением,

Наталья Экслер

Примечание обвиняемого

Это письмо было написано женой задолго до моего ареста, но не было отправлено за отсутствием реальной возможности для этого. По счастью, оно не было обнаружено во время обыска, а то заняло бы свое место среди вещественных доказательств и несколько бы расширило тематику допросов — моих и жены. Но поскольку эта книга имеет характер уголовного дела, которое я сам возбуждаю перед судом общественного мнения, письмо это становится важным документом и его необходимо приобщить к другим материалам дела.

Начальнику следственной группы
подполковнику Губинскому А.Г.
от обвиняемого Тимофеева Льва Михайловича

ХОДАТАЙСТВО

о дополнении предварительного следствия

31 июля 1985 года мне окончательно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 70 УК РСФСР. Мне вменяется в вину написание следующих литературных произведений, содержащих будто бы заведомую клевету на советский общественный и государственный строй и написанных с целью нанесения ущерба этому строю: «Технология черного рынка...», «Ловушка», «Последняя надежда выжить», «Москва. Моление о чаше». Поскольку речь идет о литературных произведениях разных жанров (повесть-очерк, рассказ, эссе, пьеса), казалось бы, что в обоснование обвинения должен быть произведен строгий анализ указанных текстов с целью выяснения жанрового задания, жанровых возможностей и степени их реализации, что только и делает возможным уяснение смысла и адекватное восприятие каждого произведения в отдельности. Однако, такой анализ следствием проведен не был, что привело к искаженному толкованию указанных произведений; о характере этих искажений я и буду говорить ниже.

1. Заявленное еще во вступлении как произведение исследовательское, повесть-очерк «Технология черного рынка...» трактуется как заведомая клевета на советский строй. Такая трактовка, а вслед за ней и обвинение, строится на нескольких вырванных из общего контекста — даже не фразах, а словах, которые в таком виде обретают смысл, обратный тому, какой они имеют у автора...

Разберем хотя бы один конкретный пример. В обвинении мне вменяется определение советской системы как «диктатуры страха», в этом определении усматривается заведомая ложь, имеющая целью нанести ущерб советскому общественному и государственному строю, — то есть действия явно политиче-

ского характера. Между тем, в тексте у автора слова эти находятся в центре развернутого суждения: «Советская система — диктатура бездарности, диктатура страха, который бездарность испытывает перед талантом. Именно страх перед открытыми рыночными отношениями, **с т р а х п р о и г р а т ь** на рынке — чувство хорошо знакомое, должно быть, каждому из нас — именно этот страх питает во всем мире социалистические идеи. У нас же этот победоносный страх обрел черты государственности...

Конечно, талант с бездарностью легко не разведешь. Тут на первый-второй не рассчитаешься. И того, и другого начала в каждом из нас предостаточно... Важно, какому из них легче выжить, **с к а к и м и з н и х л е г ч е в ы ж и т ь ?**»

Всякое непредвзятое толкование этого суждения показывает, что оно имеет целью не политические оценки и определения (что вменяется мне в вину), а является попыткой социально-психологического обобщения, которое может быть подвергнуто сомнению или даже аргументированно отвергнуто специалистами, но уж никак не является заведомой клеветой.

Так выдернутые из текста слова искажают мысль автора. И это происходит неоднократно. Материалы дела показывают, что это не случайно. Создается впечатление, что следствие вообще недостаточно подготовлено к восприятию и пониманию научной экономической и социологической литературы, цифровые и фактические данные которой положены в основу системы доказательств идей, высказанных в повести-очерке «Технология черного рынка...»

Обратимся к протоколу допроса обвиняемого от 13 мая с.г. Вот текст вопроса следователя: «На ст. 72 очерка "Технология черного рынка..." вы... приводите цифры об оплате труда колхозников, заявляя: "...и еще в 1963 году в стране были тысячи колхозов, где крестьянин получал за свой труд в течение года 6-7 пудов зерна и 10-15 рублей деньгами". Как видно, эти статистические данные взяты из книги "Коллектив колхозников"... где они относятся всего к трем колхозам Орловской области и приведены в обоснование посылки авторов о том, что имеют

место колебания в заработках колхозников в урожайные и неурожайные годы. 1963 год назван неурожайным, поэтому и цифры оплаты труда намного ниже, чем они были в предшествующие и последующие годы.

Таким образом, сделанный вами вывод в этой части не вытекает из использованного источника, то есть утверждать о тысячах колхозов по цифрам неурожайного года и относящимся всего к трем колхозам одной нечерноземной области, противоречит объективному исследованию данного вопроса. К тому же говорить о 6-7 пудах зерна и 10-15 рублях деньгами как о сумме оплаты труда колхозников за год, без учета количества выработанных трудодней — дополнительное свидетельство необъективности и преднамеренного искажения действительности.

Вам предъявляется книга "Коллектив колхозников". Покажите, с какой целью вы сделали указанную подтасовку?»

Таков вопрос следователя. Такова система аргументации. Прежде всего следует сказать, что в указанном месте «Технологии черного рынка...» речь идет как раз о тяжелых недородных временах на Нечерноземье и ни о чем другом: "...А что там в Рязани, Смоленске, Владимире, Вологде? Об этом ни слова. Будто вымерли земли. И близко к тому было... Голод в 39-м году. Голодные весенние годы. Голод в 47-м. Голод в 48-м. В остальные годы лепешек не пекли, но никогда не ели досыта. И еще в 1963 году в стране были тысячи колхозов, где крестьянин получал за свой труд в течение года 6-7 пудов зерна и 10-15 рублей деньгами».

Действительно, последние данные почерпнуты из книги «Коллектив колхозников». Можно ли данные по трем колхозам распространить на тысячи по всей нечерноземной зоне? Можно. И мы вправе это сделать, поскольку авторы исследования говорят об этих трех колхозах как о типичных для Центральной зоны России(стр. 29 книги «Коллектив колхозников»), а о двух из них даже как о крупных и экономически развитых хозяйствах. Такое перенесение частных данных, полученных в выборочном исследовании, на явление более общее —

норма научного мышления. Между тем, следствию такой прием не был знаком, а потому кажется «клеветой», «подтасовкой».

Не более резонно замечание следователя о расчете оплаты труда: в тексте исследования «Коллектив колхозников» имеется таблица, из которой ясно, то в исследованных колхозах в 1963 году выдавали на один трудодень 0,5-0,6 кг зерна и от 0,03 до 0,5 рублей деньгами, что для колхозников, вырабатывавших от 200 до 500 трудодней в году, в среднем составит примерно указанный объем выплат.

Словом, заявлять здесь о подтасовке и клевете можно лишь в том случае, если в принципе отказаться от языка социально-экономической литературы. Между тем, аналогичным образом следствием оценены мои цитаты из работы Р.В.Рывкиной «Мнение руководителей сельского хозяйства о происшедших и будущих изменениях деревни» (Новосибирск, 1975 г.), из книги П.Шелеста «Одна сельская семья...» («Советская Россия», М., 1974 г.), из доклада Сталина на XVIII съезде партии и другие. Именно на таком «прочтении» строится обвинение в клевете с целью нанесения политического ущерба — обвинение, выдвинутое против меня как автора «Технологии черного рынка...»

2. Мне также вменяется в вину написание рассказа «Ловушка», где я якобы клеветнически характеризую советский государственный и общественный строй как «разлагающееся общество», а социально-экономический — как «море хозяйственной нищеты», заявляю о том, что в основе нашего социалистического государства лежит, якобы, «ложь». Между тем, в рассказе «Ловушка» вообще нет авторской речи. Рассказ состоит из писем разных лиц друг другу, причем суждения их прямо противоположны по многим вопросам, и позиция автора, как это понятно всякому знакомому с основами литературоведения, может быть выяснена лишь анализом всего произведения в целом — сюжета, композиции, идейно-композиционного принципа и т.д. Отсутствие такого анализа заставляет следствие поддерживать обвинение при помощи грубой идентификации позиции автора с позицией одного из персонажей — человека,

шаткость психики которого намеренно подчеркнута автором. Такой прием ставит под сомнение обоснованность предъявленного мне, как автору рассказа, обвинения.

3. Мне также вменяется в вину написание эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности». Уже само избрание автором жанра «эссе», «размышлений» заставляет усомниться в целенаправленном стремлении нанести ущерб советскому общественному и государственному строю. Анализ же текста и содержащейся и развивающейся в нем идеи и вовсе мог бы легко отклонить такое обвинение — отклонить напрочь, так как подтвердил бы, что основная мысль автора своим полемическим острием направлена как раз против тех, кто призывает к радикальным действиям во имя такого ущерба. Основная мысль автора — мысль о сохранении политической стабильности советского государства. В главе «Надеяться ли нам на новую революцию?» — предпоследней и поэтому особенно важной в композиционном плане, «установочной» главе, читаем:

«На что же нам надеяться?

На здравый смысл общества, на общественное мнение. А это сила немалая, ею движется глубинный исторический процесс...

И еще на мудрое смирение, которое и составляет духовную основу здравого смысла. На смирение, которое и позволило нашему обществу выстоять против чудовищного, невиданного в истории давления, ибо смирение — не форма рабского подчинения, но форма духовной свободы в условиях административного рабства.

Иными словами, наша надежда — не на победоносную революцию, а на фундаментальную и плодотворную работу общественного мнения».

И далее, в последней главе «Последней надежды выжить» прямо читаем: «В некотором смысле наша надежда — на стабильность социалистического государства.

Мы не можем себе позволить какого бы то ни было радикального вмешательства в исторический процесс...»

Где же здесь умысел нанесения ущерба советскому общественному и государственному строю? Ущерб — смирением? Ущерб — отказом от радикального вмешательства?

Между тем, следствие пытается доказать мою вину, вновь выхватывая из статьи отдельные полемически острые суждения, совершенно игнорируя тот факт, что в ней ничто не утверждается без сомнения самого автора и, по сути, каждая глава — лишь постановка проблемы, а не ее решение. Все это без труда мог бы увидеть специалист, обладающий навыком анализа литературных текстов.

4. И уже вовсе странным выглядит то, что мне как преступление, подпадающее под ч.1 ст. 70 УК РСФСР, вменяется написание пьесы «Москва. Моление о чаше», где я, будто бы, «с враждебных позиций оклеветал советский государственный строй, называя его "нечеловеческой системой" и утверждая будто бы, что «общество в СССР проникнуто ложью и беззаконием». Здесь мне вновь грубо вменяются речи одного из персонажей пьесы, хотя в то же время следствие и признает, что выведенные мной герои — «люди низкой культуры общения, взаимоотношения между ними построены на сквернословии и оскорблениях. Им присуща внутренняя опустошенность, бездуховность, оторванность...» Следствие по своей недостаточной литературоведческой осведомленности просто не принимает во внимание, что это я, автор, наделил героев всеми этими пороками, тем самым определив свое отношение к ним — отношение далеко не однозначное. Можно ли после этого вменять автору — как его собственные, выражающие его мнение — их высказывания.

В свете всего изложенного выше, я ходатайствую о назначении экспертизы моим произведениям, которую я прошу произвести в следующем порядке:

1. Экспертная комиссия социологов должна проанализировать систему аргументации и выводы повести-очерка «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать».

Эксперты должны ответить на следующие вопросы:

а) Обоснованы ли выводы, сделанные мной из цифровых и фактических данных, приведенных в работе и почерпнутых, главным образом, в советской научной литературе?

б) Каков конечный социально-экономический вывод автора?

2. Экспертами-литературоведами должны быть подвергнуты анализу рассказ «Ловушка», эссе «Последняя надежда выжить», пьеса «Москва. Моление о чаше».

Перед экспертами должны быть поставлены следующие вопросы:

а) Каковы идейно-композиционные принципы каждого из этих произведений в отдельности?

б) В какой степени возможно идентифицировать автора этих произведений с их персонажами?

Прошу приобщить это ходатайство к материалам уголовного дела.

8 августа 1985 года

Подпись.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемого,
поддержанного его защитником

гор. Москва

9 августа 1985 года

...Приведенное ходатайство обвиняемого Тимофеева, поддержанное его защитником Власовой К.В., не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В процессе расследования преступной деятельности Тимофеева приняты все предусмотренные законом меры для всестороннего полного и объективного исследования обстоятельств дела. В результате собраны достаточные доказательства вины Тимофеева в объеме предъявленного ему обвинения, а именно в том, что, будучи враждебно настроенным к Советской власти и действуя в целях ее подрыва и ослабления, он проводил в 1977-1984 годах антисоветскую агитацию и пропаганду.

Имеющиеся в деле материалы достаточны для правильного рассмотрения его в суде.

Из текста ходатайства обвиняемого усматривается, что, настаивая на осуществлении дополнительного следственного действия, связанного с назначением социологической и литературоведческой экспертизы, он преследует цель выяснения обстоятельств, не имеющих значения для дела. Оценка доказательств произведена в строгом соответствии с требованиями ст. 71 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.

На основании изложенного, производство дополнительного действия, о котором ходатайствует обвиняемый, не вызывается необходимостью.

Руководствуясь требованиями ст.ст. 131 и 204 УПК РСФСР,

постановил

обвиняемому Тимофееву Льву Михайловичу и его защитнику Власовой Ксении Владимировне в удовлетворении ходатайства отказать.

Начальник группы Следственного отдела КГБ СССР
подполковник *Губинский*

Старшему прокурору отдела Прокуратуры СССР
ст. советнику юстиции Захарову С.А.
от обвиняемого Тимофеева Льва Михайловича

ЗАЯВЛЕНИЕ

Обращаюсь к Вам согласно ст. 218 УПК РСФСР с обжалованием необоснованного отказа следствия удовлетворить мое ходатайство от 8 августа с.г., в котором я обоснованно доказывал необходимость дополнения предварительного следствия экспертизами — научной, экономической и литературоведческой. Постановлением следователя от 9 августа с.г. в проведении такой экспертизы мне было отказано. Прошу Вас рассмотреть мое ходатайство, находящееся в деле, и принять меры к его удовлетворению.

Подпись

12 августа 1985 года

P.S. обвиняемого: Заявление оставлено прокуратурой без ответа — как будто бы и не было заявления, даже формальной отписки не прислали — и в ней-то нужды не увидели: и без того всем все ясно!

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель
Генерального прокурора СССР
Государственный советник юстиции I класса
Н.А.Баженов

12.08.1985 года
№ 46/85

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по уголовному делу № 53

**по обвинению Тимофеева Льва Михайловича
в совершении преступления,
предусмотренного частью I статьи 70
Уголовного кодекса РСФСР**

Настоящее уголовное дело возбуждено Следственным отделом Комитета госбезопасности СССР 18 марта 1985 года, а 21 марта в отношении Тимофеева применена мера пресечения в виде заключения под стражу. (Том I л.д. 1-2, 15-16.)

Предварительным расследованием установлено, что Тимофеев на протяжении 1977-1984 годов в целях подрыва и ослабления советской власти проводил антисоветскую агитацию путем изготовления в гор. Москве клеветнических, порочащих советский государственный и общественный строй произведений, которые направлял за границу для использования антисоветскими подрывными центрами в проведении враждебной пропаганды против СССР.

Конкретно преступная деятельность обвиняемого выразилась в следующем.

В 1977-1980 годах Тимофеев написал в целях распространения антисоветское произведение под названием «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», в котором заведомо ложно утверждал, будто «советская система — диктатура страха», якобы осуществляющая «политику крепостного закабаления крестьянства» и «эксплуатацию трудящегося

человека». Данный пасквиль, содержащий приведенные и иные клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, переправил за границу, где в 1980-1981 годах он был опубликован в реакционном журнале «Русское возрождение» №№ 11, 12, 13 и 14 и в издающихся зарубежной антисоветской организацией НТС журналах «Посев» № 12 и «Грани» № 120, а также неоднократно передавался на СССР радиостанцией «Голос Америки». (Том 2 л.д. 148-282, том 3 л.д. 65-71.)

В тот же период времени и в тех же преступных целях написал другое клеветническое сочинение «Ловушка. Роман в четырех письмах», в котором советский государственный и общественный строй заведомо ложно характеризовал «разлагающимся обществом», а социалистическую экономику как «море хозяйственной нищеты», заявлял о том, что в основе нашего социалистического государства лежит якобы «ложь». Этот антисоветский пасквиль переслал на Запад, где в 1981 году он был опубликован в журнале «Грани» № 122. (Том 3 л.д. 1-12.)

В 1982-1983 годах в целях подрыва и ослабления советской власти изготовил для распространения клеветническое произведение, озаглавленное «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности». В этом сочинении вновь возвел заведомо ложные измышления, порочащие государственный и общественный строй в СССР, именую его «пленным» обществом, в котором основной формой правления будто «остается террор», утверждал, что «коммунистическому аппарату» якобы необходимо «нагнетание военной опасности», которое приведет к войне, а советскую национальную политику характеризовал как «колониальную». Этот пасквиль послал за рубеж, где он был опубликован в антисоветском журнале «Время и мы» №№ 75, 76, 77 за 1983-1984 годы. Кроме того, его содержание транслировалось на СССР враждебной радиостанцией «Радио Свобода». (Том 3 л.д. 13-49.)

Тогда же в целях распространения изготовил очередное клеветническое сочинение под названием «Москва. Моление о чаше». В нем, как и в других, опубликованных на Западе, с враж-

дебных позиций оклеветал советский государственный и общественный строй, называя его «нечеловеческой системой» и утверждая, будто общество в СССР проникнуто ложью и беззаконием. Названное произведение обвиняемого в 1984 году было напечатано в зарубежном журнале «Время и мы» № 79. (Том 3 л.д. 101-122.)

Свое авторство клеветнических сочинений «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка. Роман в четырех письмах», «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» и «Москва. Моление о чаше» Тимофеев на следствии подтвердил, однако заявил, что не считает уголовно наказуемым деянием сочинение этих произведений. (Том I л.д. 12, 90-96, 116-123, 128-132, том 6 [видеозапись допроса].)

Помимо этого, в инкриминируемых деяниях он изобличается:

— показаниями свидетеля Н.Е.Экслер о том, что автором названных сочинений является ее муж — Тимофеев Л.М. и написаны они были им в г. Москве. (Том I л.д. 255-259, том 2 л.д. 36-41.)

— показаниями свидетеля Н-й, знавшей со слов своей дочери Экслер Н.Е. о написании Тимофеевым книги, «содержание которой является преступным» и передаче ее за границу вопреки просьбам дочери «прекратить работу над ней... прекратить это опасное занятие». (Том 2 л.д. 222-225.)

— показаниями свидетеля Г-ва, которому 19 марта с.г. Экслер Н.Е. рассказала, что Тимофеев «опубликовал за рубежом работу», упоминала при этом «пьесу» и то, что одну «из этих работ передавали по радиостанции "Голос Америки"». (Том 2 л.д. 153-157.)

Из протокола допроса свидетеля Г-ва: Показания, изобличающие обвиняемого. «...На следующий день я заехал к Наташе... Наташа сообщила, что вчера у них в квартире был обыск, что Льва арестовали. Рассказала, что Лев опубликовал за рубежом какую-то экономическую работу. Потом шла речь о какой-то пьесе. Но я не понял, была ли опубликована пьеса. Я не помню, упоминала ли она при этом название работ. Но из разговора я понял, что какую-то из этих работ передавали по радиостанции «Голос Америки». Из ситуации было понятно, ка-

кой характер носят эти работы, поэтому расспрашивать более подробно о том, что они из себя представляют, я считал неуместным. Могу лишь отметить, что состояние Наташи было угнетенное. Она была буквально убита происшедшим. Все время принимала какие-то таблетки...

— показаниями свидетеля Л-й о том, что Тимофеев, со слов Экслер, «свои работы печатал за границей». (Том I л.д. 206-210.)

Из протокола допроса свидетеля Л-й: Показания, изобличающие обвиняемого. «...Уже после ареста Льва Михайловича от Натальи Евгеньевны я узнала, что якобы какие-то свои работы он печатал за границей. Более подробно на эту тему мы с ней не разговаривали, и откуда ей стало известно об этом, я не могу сказать.

— показаниями свидетеля Ж-ва, что в сочинении «Ловушка» Тимофеев использовал некоторые фактические данные, относящиеся к развитию колхоза «Красный каучук» Шацкого района Рязанской области, а в описании образа героя повествования — отдельные моменты биографии свидетеля, однако интерпретировал эти данные в ложном, порочащем советскую действительность свете. Ж-в на допросе заявил: «Я возмущен тем, что факт из моей биографии Л.М.Тимофеев использовал при написании явно клеветнического пасквиля "Ловушка" и опубликовал его в зарубежном антисоветском издании. Я никак не ожидал от Тимофеева, что он таким непорядочным образом может использовать наши беседы с ним». (Том I л.д. 158-165.)

Из протокола допроса свидетеля И-ва: Показания, изобличающие обвиняемого. «...Таким образом, в образе В.Хренова Тимофеев, на мой взгляд, изобразил Ж-ва, однако, многие факты искажил. Так, например, случаев самосожжения партийных или советских работников, аналогичных описанным Тимофеевым, мне не известно...»

— показаниями свидетеля И-ва И.К., подтвердившего изложенные Ж-вым обстоятельства. (Том I л.д. 168-173, том 7 л.д. 144.)

— показаниями свидетелей: М-ва, П-ва, К-ва, П-на А. и П-на Н., пояснивших, что описанные Тимофеевым в сочинении «Технология черного рынка...» отдельные фактические обстоятельства, связанные с пребыванием автора в «селе Гати» Ря-

занской области, в действительности имели место в с. Желанное Шацкого района названной области, где Тимофеев с начала семидесятых годов периодически останавливался на отдых. (Том I, л.д. 202, 203, 213-214, 232-246, л.д. 253-254.)

— показаниями свидетелей М-ва — директора совхоза «Выша», куда входит с. Желанное; И-ва — председателя колхоза «Красный каучук»; Т-на — председателя колхоза «Путь Ленина» Рязанской области о том, что автор «Технологии черного рынка...» и «Ловушки» Л.Тимофеев в этих своих сочинениях с враждебных позиций опорочил действительное положение советского сельского труженика и оклеветал политику партии и правительства в области сельского хозяйства. (Том I л.д. 168-173, 215-221, том 2 л.д. 24-27.)

Из протокола допроса свидетеля М-ва. Показания, изобличающие обвиняемого: «Ознакомившись с зачитанными мне выдержками из работы Тимофеева Л.М., я хочу заявить, что возмущен содержанием этого пасквиля. Для человека, писавшего это, как мне кажется, вообще нет ничего святого. Он совершенно не знает жизни крестьян, подтасовывает факты, пытаюсь представить их быт и труд в «черном свете», не замечая ничего хорошего в сельской жизни, клеветает на действительное положение сельского труженика. Таким своим сочинением он не только не оказывает помощи крестьянам, «раскрывая им глаза» (как он, возможно, думает) на их положение, но и оскорбляет их, порочит перед всем миром, лицемерно выступая под личиной их заступника».

Из протокола допроса свидетеля Т-на. Показания, изобличающие обвиняемого: «...На заданные мне вопросы хочу также пояснить, что в нашем колхозе доярки по фамилии Тюкина никогда не было, да и заработки у доярок, по крайней мере, после 1965 года, никогда не были ниже 150 рублей. В настоящее время средний заработок доярок в колхозе составляет от 250 до 350 рублей в месяц. Поскольку я проживаю в этих местах практически всю жизнь, то хочу сказать, что ни механизатора Гаврилы Ивановича, ни других лиц с такой фамилией в нашем колхозе не было. В нашем колхозе на приусадебном участке выращивают, в основном, картофель. Огурцы, насколько мне известно, выращивают жители поселка Усады, расположенного примерно в 20 км от села Желанное, и в поселках Польное и Ялтуново, расположенных примерно в 15 км от Желанного».

Из протокола допроса свидетеля И-ва. Показания, изобличающие обвиняемого: «В целом после прочтения "Ловушки" создается впечатление о некомпетентности человека, писавшего этот пасквиль на жизнь тружеников нашего сельского хозяйства. Он клеветает на наш строй,

демократические устои хозяйства, которые были заложены еще в 1929 году. На протяжении этих лет колхоз имел подъем в развитии хозяйства и спады производства, но никогда уровень ведения хозяйства и производственные показатели не зависели от системы производственных отношений, существующих в советском обществе... Поставленные Тимофеевым в работе вопросы о демократизации в сельском хозяйстве и партийном руководстве сельскохозяйственным производством надуманны и не имеют под собой реальной почвы, поэтому недостойные, на мой взгляд, публикации Тимофеева заслуживают всяческого осуждения... Самого Тимофеева я никогда не видал и ничего о нем не знаю».

приобщенными к делу вещественными доказательствами:

— текстами сочинений Л.Тимофеева: «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» из журналов «Посев» № 12, «Грани» № 120 и «Русское возрождение» №№ 11, 12, 13 и 14, «Ловушка. Роман в четырех письмах» из журнала «Грани» № 122, «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» из журнала «Время и мы» №№ 75, 76 и 77, «Москва. Моление о чаше» из журнала «Время и мы» № 79. (Том 2 л.д. 148-282, том 3 л.д. 1-49, 65-71, 101-122, 189, 195.)

— зарубежным антисоветским журналом «Время и мы» № 77 за 1984 год с опубликованными в нем главами из клеветнического пасквиля Тимофеева «Последняя надежда выжить...», изъятым в квартире последнего при обыске 19 марта с.г. (Том 2 л.д. 55-64, том 3 л.д. 189-190, том 6.)

— рукописными и машинописными текстами, изъятыми при том же обыске у Тимофеева, представляющими собой комментированные конспекты монографий и статей по социальным и экономическим вопросам, а также письмами, черновиками и набросками статей общественно-публицистической тематики, имеющими смысловое и дословное совпадение с текстами инкриминируемых ему сочинений. (Том 3 л.д. 189-195, том 4 л.д. 110-279, том 5 л.д. 1-68 том 6 [записная книжка].)

— фотокопией изъятого при обыске 19 марта с.г. в квартире обвиняемого текста «А.Безансон. Краткий трактат по советологии, предназначенный для гражданских, военных и церковных властей» из зарубежного антисоветского журнала «Вест-

ник РХД» № 118, выдержку из которого, начинающуюся со слов: «До прихода к власти...» и заканчивающуюся: «...потерлась, обтрепалась, источилась», Тимофеев дословно привел в своем клеветническом пасквиле «Последняя надежда выжить...» (Том 2 л.д. 56-65, 88-89, том 3 л.д. 31, 189, том 6 [фотокопия].)

— изъятыми при обыске в квартире Тимофеева книгами: Ж.Симон де Сисмонди «Новые начала политэкономии», Дьячков Г.В. «Общественное и личное в колхозах», Цыпин Б.Л.

«Рабочая сила и ее особенности в период развитого социалистического общества», Колбановский В.Н. «Коллектив колхозников. Социально-психологические исследования», Шубкин В.Н. «Социологические опыты» и Греков Б.Д. «Крестьяне на Руси», отдельные цитаты и выдержки из которых Тимофеев привел в своем пасквиле «Технология черного рынка...» (Том 2 л.д. 56-62, 84-88, 93, 206-208, том 5 л.д. 69-81.)

— сообщением Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки ВАСХНИЛ о том, что в 1977-1978 годах Тимофеев пользовался из ее фондов книгами: Бедный М.С. «Продолжительность жизни в городах и селах», Вилимавичус А.С. «Личное подсобное хозяйство при социализме: его место, роль и тенденции развития», Левыкин И.Т. «Теоретические и методологические проблемы социальной психологии», Шмелев Т.И. «Личное подсобное хозяйство и его связи с общественным производством», «Современная сибирская деревня», ч.ч. I и II, Сидоров М.И. «Возмещение необходимых затрат и формирование фонда воспроизводства рабочей силы в колхозах», Староверов В.И. «Социально-демографические проблемы деревни». Эти книги, как и принадлежащие ему перечисленные выше, Тимофеев указал в качестве источников, использованных при работе над антисоветским произведением «Технология черного рынка...» (Том 7 л.д. 68-72.)

— читательским билетом Тимофеева № 6864-4/к, изъятым при обыске у него в квартире 19 марта с.г., дающим право пользования указанной библиотекой ВАСХНИЛ с 1978 по 1982 год. (Том 2 л.д. 56-62, 123, том 5 л.д. 80.)

— протоколами осмотров от 15 мая и 3 июня 1985 года произведений Тимофеева «Технология черного рынка...», «Ловушка...», «Последняя надежда выжить...» и «Москва. Моление о чаше», из которых усматривается, что они содержат клеветнические измышления, порочащие советский общественный и государственный строй, а изъятые при обыске рукописные и машинописные материалы — смысловые и дословные совпадения с текстами перечисленных сочинений. (Том 2 л.д. 65-142, том 3 л.д. 98-100.)

— заключением эксперта № 415 от 19 июня 1985 года о том, что изъятые у обвиняемого при обыске 19 марта с.г. и имеющие смысловые и дословные совпадения с текстами инкриминируемых ему клеветнических сочинений рукописи и вписанные от руки в машинописных документах вставки исполнены Тимофеевым, а сами машинописные документы отпечатаны на принадлежащей ему машинке «Эрика» № 4486599. (Том 3 л.д. 133-144.)

— заключением автороведческой экспертизы № 414 от 17 июля 1985 года, установившей, что по совокупности ораторско-публицистического, художественного, разговорно-обиходного и письменного признаков стиля речи автором «Технологии черного рынка...», «Ловушки...», «Последней надежды выжить...», «Москва. Моление о чаше», а также изъятых по делу рукописных и машинописных документов, имеющих смысловые и дословные совпадения с названными сочинениями, является Тимофеев Лев Михайлович. (Том 3 л.д. 162-188.)

— вещественным доказательством — пишущей машинкой «Эрика» № 4486599, принадлежащей Тимофееву. (Том 2 л.д. 56-62, 123, том. 3 л.д. 189, 194.)

— справками в/ч 71330 о том, что зарубежными радиостанциями «Голос Америки» и «Радио Свобода» систематически в 1984 и 1985 годах передавались на СССР на русском языке тексты сочинений Л.Тимофеева «Технология черного рынка...» и «Последняя надежда выжить...» (Том 7 л.д. 3, 29-30.)

— выписками из передач радиовещательных станций «Голос Америки» от 8 сентября и 9 октября 1984 г., 29 января, 7, 9 и 17 мая 1985 г. и «Радио Свобода» от 2 сентября 1984 г., в которых приведены части текстов сочинений Л. Тимофеева «Технология черного рынка...» и «Последняя надежда выжить...» с враждебными комментариями этих радиостанций. (Том 7 л.д. 5-27, 35-36, 41-53.)

— справками в/ч 1414 о том, что журналы «Посев» и «Грани» являются печатными органами зарубежной антисоветской организации «Народно-Трудовой Союз» (НТС), журналы «Русское возрождение», «Время и мы» — антисоветскими, клеветническими изданиями, а радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свобода» передают в эфир сообщения антисоветской направленности в целях дискредитации внутренней и внешней политики советского государства. (Том 7 л.д. 60-65.)

В процессе предварительного следствия обвиняемый Тимофеев Лев Михайлович по существу предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью I статьи 70 УК РСФСР, виновным себя не признал, пояснив, что не считает свои действия уголовно наказуемыми. (Том I л.д. 128-132.)

Утверждение Тимофеева об отсутствии в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. I ст. 70 УК РСФСР, несостоятельно и полностью опровергается совокупностью собранных следствием и приведенных выше доказательств. Он обладает достаточным жизненным опытом, имеет высшее экономическое образование, около двадцати лет пребывал в рядах Союза журналистов СССР, до 1980 года работал литературным сотрудником в редакциях журналов «Молодой коммунист» и «В мире книг», публиковался в периодической печати. Поэтому, начав заниматься антисоветской агитацией, Тимофеев явно сознавал, что его действия направлены именно на подрыв и ослабление советской власти, дискредитацию государственного и общественного строя в нашей стране. Более того, он знал, что написанные им и переданные за границу антисоветские, клеветнические произведения используются зарубежными подрывными пропагандистскими центрами в проведении идеологических диверсий против СССР.

Побудительными причинами этой преступной деятельности Тимофеева, как установлено следствием, явились его враждебные советской власти идеи и взгляды, сформировавшиеся в результате регулярного ознакомления с литературой антисоветского, клеветнического содержания, изданной за границей и нелегально распространяемой в СССР.

На основании изложенного о б в и н я е т с я:

Тимофеев Лев Михайлович, 8 сентября 1936 года рождения, уроженец гор. Ленинграда, русский, гражданин СССР, беспартийный, с высшим образованием, с марта 1980 г. официально нигде не работающий, бывший член профкома литераторов при издательстве «Советский писатель», ранее не судимый, женатый, имеющий на иждивении двух детей 1973 и 1980 гг. рождения, проживающий по адресу: гор. Москва, ул. академика Варги, дом 24, кв. 41,

в том, что на протяжении 1977-1984 годов в целях подрыва и ослабления советской власти проводил антисоветскую агитацию путем изготовления в гор. Москве клеветнических, порочащих советский государственный и общественный строй произведений, которые направлял за границу для использования антисоветскими подрывными центрами в проведении враждебной пропаганды против СССР.

Так, в 1977-1980 годах Тимофеев написал в целях распространения антисоветское произведение «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», в котором заведомо ложно утверждал, будто «советская система — диктатура страха», якобы осуществляющая «политику крепостного закабаления крестьянства» и «эксплуатацию трудящегося человека». Данный пасквиль, содержащий приведенные и иные клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, переправил за границу, где он был в 1980-1981 годах опубликован в реакционном журнале «Русское возрождение» №№ 11, 12, 13 и 14 и в издающихся зарубежной антисоветской организацией НТС журналах «Посев» № 12

и «Грани» № 120, а также неоднократно передавался на СССР радиостанцией «Голос Америки».

В тот же период времени и в тех же преступных целях написал другое клеветническое сочинение «Ловушка. Роман в четырех письмах», в котором советский государственный и общественный строй заведомо ложно характеризовал «разлагающимся обществом», а социалистическую экономику как «море хозяйственной нищеты», заявляя о том, что в основе нашего социалистического государства лежит, якобы, «ложь». Этот антисоветский пасквиль переслал на Запад, где он в 1981 г. был опубликован в журнале «Грани» № 122.

В 1982-1983 годах в целях подрыва и ослабления советской власти изготовил для распространения клеветническое произведение, озаглавленное «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности». В этом сочинении вновь возвел заведомо ложные измышления, порочащие государственный и общественный строй в СССР, именуя его «пленным» обществом, в котором основной формой правления будто бы «остаётся террор», утверждал, что якобы «коммунистическому аппарату» необходимо «нагнетание военной опасности», которое приведет к войне, а национальную политику характеризовал как «колониальную». Этот пасквиль переслал за рубеж, где он был опубликован в антисоветском журнале «Время и мы» №№ 75, 76 и 77 за 1983-1984 годы. Кроме того, его содержание транслировалось на СССР враждебной радиостанцией «Радио Свобода».

Тогда же в целях распространения написал очередное клеветническое сочинение под названием «Москва. Моление о чаше». В нем, как и в других, опубликованных на Западе, с враждебных позиций оклеветал советский государственный и общественный строй, называя его «нечеловеческой системой» и утверждая, будто общество в СССР проникнуто ложью и беззаконием. Названное произведение обвиняемого в 1984 году было напечатано в зарубежном журнале «Время и мы» № 79.

то есть в совершении преступления, предусмотренного частью I статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР.

В соответствии со статьей 207 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР настоящее уголовное дело подлежит направлению в Прокуратуру Союза СССР.

Обвинительное заключение составлено 9 августа 1985 года в гор. Москве.

Начальник группы Следственного отдела КГБ СССР
подполковник
А.Г.Губинский

Согласны:

Старший помощник начальника Следственного отдела КГБ СССР
полковник юстиции

В.Н.Расторгуев

Зам. начальника Следственного отдела
Комитета госбезопасности СССР
генерал-лейтенант юстиции

А.Ф.Волков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

18 сентября 1985 года Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе: председательствующего Миронова Л.К., народных заседателей Калининой В.И. и Король В.Г., с участием прокурора Дюковлева В.В., адвоката Власовой К.В. при секретаре Цыгановой Т.К., рассматривая в открытом судебном заседании дело по обвинению Тимофеева Л.М. по ст. 70 ч. I УК РСФСР,

установила:

подсудимый Тимофеев Л.М. в судебном заседании нарушил распорядок работы судебного заседания, не подчинялся распоряжениям председательствующего, на замечания не реагировал, требовал удаления его из зала, утверждал, что суд не компетентен рассматривать его дело.

Выслушав мнение адвоката и заключение прокурора, полагающего удалить Тимофеева Л.М. из зала судебного заседания, суд считает, что Тимофеев подлежит удалению из зала судебного заседания, так как он нарушает порядок, несмотря на неоднократные предупреждения председательствующего.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 263 УПК РСФСР, суд определил: удалить Тимофеева Л.М. из зала судебного заседания, судебное разбирательство продолжать в его отсутствие.

Председательствующий

подпись

Народные заседатели

подписи

АКТ

судебно-психиатрической экспертизы в суде

Я, нижеподписавшийся, 18 сентября 1985 года участвовал в судебном заседании Московского городского суда по делу Тимофеева Л.М., 1936 года рождения, обвиняемого по ст. 70 ч. I УК РСФСР. Экспертиза в суде назначена согласно определению судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 18 сентября 1985 года в связи с сомнением в психической полноценности испытуемого...

После того, как Тимофеев Л.М. был введен в зал судебного заседания, на обращение к нему суда, не вставая, заявил, чтобы его удалили из зала судебного заседания.

При беседе с ним узнал врача Института Сербского, поинтересовался, почему был вызван к нему психиатр.

Сознание его не нарушено, он полностью ориентирован в окружающей обстановке. Жалоб на здоровье не высказывает, себя считает в настоящее время психически здоровым. Сказал, что он ознакомился с актом экспертизы Института и считает, что вынесенное в отношении него судебно-психиатрическое заключение вполне объективно.

По поводу предъявленного ему обвинения виновным себя не считает, иронизирует по этому поводу. О своем поведении в зале судебных заседаний демонстративно заявляет, что его не должны судить за его «литературные произведения», что в период следствия его ходатайство о проведении экспертизы его трудам якобы не проводилось, и суд, по его словам, «не должен был принимать дело к производству». Свое поведение в суде называет «сознательно-отрицательным».

Мышление его последовательное. Психических расстройств (бреда, галлюцинаций) не отмечается. В настоящее время каких-либо признаков болезненного расстройства психической деятельности у Тимофеева Л.М. не отмечается. Поведение его в суде следует рассматривать как нарочито-демонстративное.

В связи с поставленными судом вопросами даю следующие ответы:

- 1) Тимофеев Л.М., как не обнаруживающий в настоящее время каких-либо болезненных расстройств психики, может отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими.
- 2) По своему психическому состоянию Тимофеев Л.М. может участвовать в судебном заседании.

Судебно-психиатрический эксперт
Института им. В.П.Сербского кмн
Фокин А.А.

ИЗ ПРОТОКОЛА СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПО ДЕЛУ № 46/85

18 сентября 1985 г.

...Председательствующий объявляет состав суда, а также сообщает, кто является обвинителем, защитником, секретарем, разъясняет подсудимому и другим участникам процесса их право заявить отвод всему составу суда, кому-либо из судей, прокурору, адвокату, секретарю.

Подсудимый Тимофеев:

— Я хочу сделать заявление. Мое дело сфабриковано. Данный суд не правомочен разбирать мое дело. Я рассматриваю это как террор, как расправу надо мной.

Мое дело подсудно суду общественного мнения.

Я требую удалить меня из зала суда. Я не хочу и не буду повиноваться суду.

Председательствующий:

делает замечание Тимофееву о нарушении порядка в зале судебного заседания.

Подсудимый Тимофеев перебивает председательствующего и не дает возможности разъяснить права; предупрежден.

Председательствующий делает второе замечание подсудимому Тимофееву, который перебивает, лишает возможности выполнить требование УПК РСФСР о разъяснении ему прав.

Подсудимый отказывается встать, кричит, стучит пакетом о скамейку.

Председательствующий делает третье замечание подсудимому Тимофееву, нарушающему порядок в зале судебного заседания, и предупреждает об удалении из зала.

Подсудимый Тимофеев:

— Я требую удалить меня из зала судебного заседания.

Продолжает кричать...

Судебная коллегия удаляется на совещание для вынесения определения.

Определение вынесено и оглашено.

Подсудимый Тимофеев удален из зала судебного заседания...

ПРИГОВОР
Именем Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики

19 сентября 1985 г.

г. Москва

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе председательствующего Миронова Л.К., народных заседателей Калининой В.И. и Короля В.Г. при секретаре Цыганковой Т.К. с участием прокурора Дюковлева В.В. и защитника Власовой К.В. рассмотрела в открытом судебном заседании дело по обвинению Тимофеева Льва Михайловича, родившегося 8 сентября 1936 года в г. Ленинграде, русского, беспартийного, с высшим образованием, женатого, имеет двоих детей 1973 и 1980 гг. рождения, не работающего, ранее не судимого, проживающего в Москве, ул. академика Варги, дом 24, кв. 41, в преступлении, предусмотренном ст. 70 ч. 1 УК РСФСР.

Изучив материалы судебного следствия, выслушав судебные прения и последнее слово подсудимого, суд

установил:

На протяжении 1977-1984 годов Тимофеев в целях подрыва и ослабления советской власти проводил антисоветскую агитацию путем изготовления в Москве клеветнических, порочащих советский государственный и общественный строй, письменных материалов, которые направлял за границу для использования антисоветскими подрывными центрами в проведении враждебной пропаганды против СССР.

Так, Тимофеев написал с целью распространения антисоветский материал под названием «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», в котором содержатся заведомо ложные измышления, порочащие политическую и экономическую систему нашей страны, а также содержатся клеветнические измышления в отношении положения колхозников и рабочих. Данный материал переправил за границу, где он

был в 1980-1981 годах опубликован в реакционном журнале «Русское возрождение» № 11, 12, 13 и 14 и в издающихся зарубежной антисоветской организацией НТС журналах «Посев» № 12 и «Грани» № 120, а также неоднократно передавался на СССР радиостанцией «Голос Америки».

В то же время и в тех же преступных целях Тимофеев написал антисоветский клеветнический материал «Ловушка. Роман в четырех письмах», в котором также заведомо ложно опорочил советский государственный, общественный строй и социалистическую экономику. Этот материал также переслал на Запад, где он опубликован в 1981 году в журнале «Грани» № 122. В 1982-1983 годах Тимофеев в целях подрыва и ослабления советской власти изготовил для распространения антисоветский клеветнический материал, озаглавленный «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности», в котором вновь возвел заведомо ложные измышления, порочащие государственный и общественный строй в СССР, заведомо клеветнически исказил внешнюю и внутреннюю политику нашего государства. Этот материал переслал за рубеж, где он опубликован в антисоветском журнале «Время и мы» №№ 75, 76, 77 за 1983-84 годы. Содержание этого материала транслировалось на СССР враждебной радиостанцией «Радио Свобода».

В то же время с целью распространения Тимофеев написал клеветнический материал под названием «Москва. Моление о чаше», в котором с враждебных позиций оклеветал советский государственный и общественный строй. Материал опубликован в зарубежном журнале «Время и мы» № 79.

В судебном заседании Тимофеев допрошен не был, т.к. неоднократно нарушал порядок во время судебного заседания, не подчинялся распоряжениям председательствующего, на неоднократные замечания и предупреждения не реагировал, продолжал нарушать порядок и был удален из зала суда. Суд считает, что предъявленное обвинение нашло полное подтверждение в судебном следствии, а Тимофеев виновен в совершенном преступлении.

На предварительном следствии, в частности, в своем собственноручном письменном ходатайстве после ознакомления с материалами дела, Тимофеев, по существу, признал, что материалы под названием «Технология черного рынка...», «Ловушка...», «Последняя надежда выжить...», «Москва...» составил он.

К уголовному делу приобщены в качестве вещественных доказательств тексты указанных материалов из антисоветских журналов: «Посев», «Грани», «Русское возрождение», «Время и мы», и автором материалов указан Л.Тимофеев.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Экслер — жена Тимофеева, показала, что перечисленные материалы написаны Тимофеевым.

В квартире Тимофеева обнаружены и изъяты рукописные и машинописные тексты, которые, по заключению эксперта, имеют смысловое и дословное совпадение с текстами материалов, изготовленных Тимофеевым и опубликованных в зарубежных антисоветских журналах. Эти рукописи и вставки в машинописные тексты, вписанные от руки, исполнены Тимофеевым, а машинописные тексты отпечатаны на машинке «Эрика», принадлежащей Тимофееву, обнаруженной на его квартире и приобщенной к делу в качестве вещественного доказательства.

Автороведческая экспертиза исследовала исполненные Тимофеевым рукописные и машинописные тексты и по совокупности признаков подтвердила авторство Тимофеева материалов: «Технология черного рынка...», «Ловушка...», «Последняя надежда выжить...», «Москва. Моление о чаше». Заключение экспертизы оглашены и исследованы в судебном заседании, доводы экспертов обоснованы, а выводы правильны.

В квартире Тимофеева обнаружен, изъят и приобщен к материалам дела зарубежный антисоветский журнал «Время и мы» № 77 за 1984 год, в котором опубликован материал, изготовленный Тимофеевым, под названием «Последняя надежда выжить...». Это обстоятельство свидетельствует о связи Тимофеева для передачи изготовленных им материалов за рубеж.

Свидетель Г-в в судебном заседании показал, что со слов жены Тимофеева ему известно о публикации Тимофеевым своих работ за рубежом.

Свидетели Ж-в и И-в показали, что в материале под названием «Ловушка...» использованы некоторые фактические данные развития их колхоза, но многие факты искажены и порочат советскую действительность.

Оценивая содержание материалов, изготовленных Тимофеевым, учитывая определенную направленность действий Тимофеева на публикацию материалов за рубежом в антисоветских журналах и использование этих материалов для враждебной против СССР пропаганды, следует признать, что Тимофеев преследовал цель подрыва и ослабления советской власти. Совокупность изложенных доказательств дает основание сделать вывод о полной доказанности совершенного Тимофеевым преступления и правильности квалификации его действий по ч. 1 ст. 70 УК РСФСР.

При назначении меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность Тимофеева и обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие ответственность.

Тимофеев ранее не судим, на иждивении имеет двоих детей, до 1980 года занимался общественно-полезным трудом. Вместе с этим суд учитывает повышенную общественную опасность совершенного им тяжкого преступления и считает необходимым назначить наказание, связанное с лишением свободы и ссылкой.

В стадии предварительного следствия Тимофеев обследовался стационарной судебно-психиатрической экспертной комиссией, которая пришла к категорическому заключению о его вменяемости в отношении совершенного преступления. В акте экспертизы, оглашенном в судебном заседании, подробно изложены доводы и убедительно мотивирован вывод. В судебном заседании эксперт врач-психиатр обследовал Тимофеева с учетом его поведения и данных истории болезни и дал заключение о том, что Тимофеев отдает отчет своим действиям, может ими руководить, по своему психическому состоянию мо-

жет участвовать в судебном заседании. Свой вывод эксперт подробно мотивировал и представил заключение.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 301-303 и 312 УПК РСФСР, суд

приговорил:

Тимофеева Льва Михайловича признать виновным в преступлении, предусмотренном ст. 70 ч. I УК РСФСР и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет со ссылкой на пять лет с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии строгого режима. Срок отбытия наказания исчислять с зачетом предварительного заключения с 19 марта 1985 года.

Меру пресечения оставить заключение под стражу.

Вещественное доказательство — пишущую машинку «Эрика» № 4486599, как орудие преступления, конфисковать.

Взыскать с Тимофеева Льва Михайловича в доход государства судебные издержки в сумме 10 рублей (десять).

Приговор может быть обжалован и опротестован в Верховный суд РСФСР в течение семи суток со дня его провозглашения, а для осужденного Тимофеева Л.М. в тот же срок, но со дня вручения ему копии приговора.

Председательствующий:

подпись

Народные заседатели:

подписи

Любимая, нет ничего — есть Ты.
Иного в этом мире не осталось.
Какая бы судьба не ожидалась,
Любимая, нет ничего — есть Ты.
Молитвой поднимусь до высоты
Твоей.

Невидимым пребуду.
Ты не поймешь, ты удивишься чуду,
А это я — из тьмы, из ниоткуда
Молитвой поднимусь до высоты
Твоей.

*21 марта 1985 года
Лефортовская тюрьма*

Когда сплетенные рогами бычьи морды
(а если точным быть — коровы и быка)
мне в грудь мучительно и тупо упирались
и было стеснено мое дыханье
и я уже терял надежду выжить
и мягко, влажно был притиснут к стенке
и сам не то мычал, не то стонал...
открылось вдруг широкое пространство
быков не стало

и меня не стало...

Соком черного хлеба отравлен, на нары запрятан,
Без свиданий, без писем — обовшивел в тоске.
На словах все известно: блаженство гонимых
за правду...

Ни блаженства, ни правды — надзиратель
в тюремном глазке,
Бычьей мордой своей упирается в грудь мне Россия —
не рогами — ноздрями, губами, слюнявой щекой
Я притиснут к стене на потеху печальным разиням...
Кто я, Господи? Прах или соли вселенской шепоть?

В этой жизни моей голос Твой как бы вовсе не слышен.
Я не то чтобы сплю, но еще не проснулся вполне.
Не вполне еще понял, что счастья не будет, что свыше
Это долгое горе как благо даровано мне.

Ничего, я готов проиграть эти мелкие войны.
Если все же вплетешь меня, Боже, в свой дивный узор,
Навести меня в срок, дай понять Твою вышнюю волю,
Посмотри на меня хоть в тюремный глазок.

*Декабрь 1985 года
Пермская пересыльная тюрьма*

II

Вне гармонических звучаний
жесток и жёсток этот мир...
Из жести кружка, миска, чайник,
вагон, собака, конвоир.

Стук металлической посуды
и грохот кованых дверей...
XX век — палач, паскуда,
по горло музыки твоей.

Кровь на губах. Твои ноктюрны
для жести водосточных труб
звучат по пересыльным тюрьмам:
на жести спят, из жести пьют...

И снова двор тюрьмы, машина,
конвой, шипящий жесткий свет.
Где та железная пружина,
что в жизни держит этот бред?

Да наяву ли это с нами?
Откуда слышится хорал?
Кто там кровавыми губами
тюремный снег поцеловал?

Кого уводят? Чьи объятья?
Глаза слезятся на ветру...
На металлическом распятии
Христос приварен ко кресту.

*Декабрь 1985 года
Пермская пересыльная тюрьма.*

21 декабря 1985 года. Письмо из зоны.

Натанька родненькая! Миленькие мои девочки! Вот я на месте и вот мой адрес, если его у вас еще нет: 618263 Пермская обл., Чусовской р-н, п/о Копально, пос. Курино в/с 389/36. Теперь жду не дождусь ваших писем. Пишите всё-всё о себе, письма длинные-длинные, подробные-подробные. Чем больше подробностей, даже мелочей, тем лучше: и как каждый день у каждой из вас проходит, и во что Катька играет, и что Сонька рисует, и какие уроки задают в школе, и где в гостях были, и с кем дружите и как дружите, и как бабушка поживает, и как мамочка. Пишите всё как есть — и хорошее, и плохое. И плохое тоже обязательно — чтобы и я поплакал вместе с вами. Обязательно обо всем пишите... Всякий, кто захочет мне написать, доставит мне огромную радость...

Ну что же о себе? Я сбрил бороду, и под ней оказалась некрасивая, ну просто отвратительная физиономия — надменное лицо эпохи упадка Рима... Но вообще-то я в порядке — в соответствии с обстоятельствами. Обе Сонькины передачи в Лефортово были хороши и очень кстати — мне было тепло на этапе и я был сыт. И еще с гордостью и умилением думал, какая у меня самостоятельная девочка... Только вот беспокоюсь, Соняша, как бы тебя в другую сторону не занесло: не обижай Катьку, не обижай бабушку, не обижай мамочку. Чем быть обидчицей, лучше не быть самостоятельной. Для тебя это сейчас самый опасный грех — почувствовать себя выше других. Прости, что я назидаяю, но сам за тебя боюсь...

Ладно. Вот теперь мои новые просьбы: сразу по получении письма нужно выслать мне бандероль (вес до 1 кг.), в которой будет электробритва и одна пара шерстяного белья. Пара — это рубашка и кальсоны, но кальсоны вообще-то у меня есть в достатке. Было бы хорошо получить две нижние рубашки, но, кажется, они по отдельности не продаются. Ладно, как получится, так и хорошо. Но именно **нижнее** белье — другого ничего не надо. Если останется место по весу до 1 кг — то можно положить сухофрукты, но любых не надо, а получше — курагу, что ли...

Перевели ли вы мне тогда в Москве деньги? Если перевели — хорошо, я их и сюда получу. Если нет, то пожалуйста, переведите сюда рублей 30-40. Думаю, что это последние траты со мной связанные — впредь постараюсь сам зарабатывать.

Теперь о свидании. Видимо, оно возможно будет уже к концу января. Но не знаю, право... Видеть вас мне огромное счастье: я все живу тем нашим свиданием в Лефортово, все вспоминаю, как Катька двигалась, что Соняша говорила, что Натанька — и всех вместе меж двух ладоней глажу — и то ведь всего-то полтора-два часа, а здесь целых три дня вместе... Но подумать о вашем путешествии — двое суток в одну сторону поездом, да еще автобусом час, как не более, — а если мороз сильный? А если с автобусами перебои? — думать о такой вашей поездке мне как-то страшно. Может быть, отложить до лета? Но, с другой стороны, что там будет летом? Кто как себя чувствовать будет? Бери, пока дают... Не знаю. Напиши мне, Натанька, как ты к этому относишься, что думаешь и сообразишься только со своим состоянием. (Да есть ли теплое, в чем ехать? Тебе-то можно было бы в моем полушубке — думаю, в этих местах его неприглядность не будет зазорной?) Пока не получу твоего письма, заявки на свидание делать не буду. Пиши.

Целую вас, милые мои, и жду писем. От Наташи, от Сони (почаще), от Кати (уже пора), от бабушки Лены (хоть одно большое — ее взгляд на детей), от бабушки Вали.

С Новым Годом вас. Кто-то будет Дедом Морозом?

И с Рождеством Христовым. Господь с вами.

Лева.

10 февраля 1986 года. Письмо из зоны.

Здравствуй, моя большая маленькая девочка! Три письма я написал отсюда мамочке, а четвертое вот — тебе. Как ты там? Ни от мамочки, ни от тебя нет ни письмишка. Что же я без ваших писем? Так, ничего, кусок тоски. Живу все воспоминаниями о нашем лефортовском свидании, и все возвращает их со-

знание, все возвращает. И еще во сне вас вижу. И молюсь за вас...

Оттого что нет писем, нет ощущения, что вы меня слышите, поэтому и желание поговорить в письме — а хочется-то очень, прямо всю тетрадку бы исписал — желание это как бы уходит в песок... Как там моя Катенушка? Читает? Пишет? Песенки сочиняет? Здоровы ли вы все? Что мамочка? Что бабушка?.. Что твоя «художка»? Знаешь, я постоянно в сознании проделываю этот путь с тобой в «художку» — и теперь понимаю, что это были, может быть, самые счастливые часы в моей жизни — когда ты там рисовала, а я ходил вокруг, ездил по своим делам — а сознанием с тобой рядом был... Что в школе? Думаю, какие бы отметки тебе ни ставила историчка-начальница, историю надо знать на «отлично» — тем более, чем более несправедлива будет к тебе учительница. Ты просто должна стать специалистом-историком... Очень мне в жизни не хватает твоих картинок — напиши хоть словами в письме, что и как рисуешь, в какой технике, какие сюжеты? С кем дружишь и как? Где бываешь? Что матушка Анита? Что Мишка? Пиши мне, родная, почаще и поподробнее. Хорошо бы каждую неделю: встала в воскресенье утром — и отчет за неделю...

Не знаю, успеет ли мое письмо к Наташенькиному дню рождения — если успеет, поздравь за меня и сделай от моего имени подарок — картинку, как мы с тобой в зоопарке гуляем (или другую какую-нибудь).

Целую вас, родные мои! Живу вами и молюсь за вас постоянно. Пишите.

Лева.

P.S. Я уже писал, что жду бандероль (электробритва, пара теплого тонкого белья, изюм, курага) и перевод (30-50 руб.) телеграфом.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Я и раньше не испытывал и теперь не испытываю ненависти ко всем этим тюремным и лагерным чинам, ко всем этим прапорщикам, лейтенантам, майорам, которые меня обыскивали, конвоировали, стерегли, загоняли в камеру или в цех, закладывали гремящие засовы и замыкали тяжелые двери. Мучали тем, что лишали необходимой теплой одежды или не давали спать, лишали писем и не давали увидеться с детьми и с женой, стремились оскорбить мелкими запретами... Нет, я никогда не испытывал ненависти к ним. Но сейчас, когда я вынужден говорить о них, я ощущаю глубокое омерзение...

Я видел, как они убивают людей... Убить сразу они теперь боятся. И поэтому потихоньку, постепенно подталкивают человека к смерти... Но об этом как-нибудь после.

Они живут по ту сторону забора. Из зоны видны крыши их домов. Слышны голоса их детей и жен, а иногда громкие и нетрезвые голоса их самих, гармошка, или Пугачева, или даже тяжелый рок... Осенью из-за забора доносятся запахи уксуса и пряностей — места здесь лесные, хвойные, мшистые, — видеть, тут много рыжиков и белых, и заборные запахи нам, энкам дают знать, что там наступила пора солить и мариновать грибы на зиму.

Зимой звуки жизни по ту сторону становятся глуше, как бы утопают в сугробах — разве что долго и громко буксует застрявший где-то грузовик, и прислушиваясь, гадает ээк, не нашего ли брата, заключенного, вез воронок, и вот теперь застрял, и коченеет теперь человек в промерзшей клетке — и за час, за два задубеет совсем, пока выволокут машину трактором и погонят дальше.

Если встать на кучу шлака, которая к марту поднимается возле котельной на промзоне, то можно увидеть детей, катающихся на санках и на лыжах, женщин с детскими колясками... Но долго на куче шлака стоять нельзя. Могут заподозрить, что ты изучаешь местность за забором, готовишься к побегу. Несостоявшемуся «шпиону» Диме Д-му (восемь лет строгого режима, из них три — тюрьмы — якобы за попытку шпионажа в

пользу неопределенной иностранной державы: служа в армии, фотографировал любительским аппаратом в расположении части, вину свою признал и получил в с е г о восемь лет, ниже низшего срока, предусмотренного соответствующей статьей) — так вот, Диме даже приписали попытку побега — за то, что он залез на кучу шлака, от которой до ближайшего забора-то добрых метров семьдесят, — залез и смотрел оттуда на волю, смотрел, оторваться не мог... Диму вообще в то время сильно п р е с с о в а л и за то, что он подпал под влияние одного известного христианского активиста, стал молиться перед сном и перед едой. А молитва и крестное знамение доводят ментов прямо до полного бешенства. Но это другое.

Попытку побега Диме приписали зря. Бежать тут некуда, да и невозможно, да и никто никогда не пытался. Нет, не побега нашего боятся менты — боятся, что хотя бы в з г л я д за забор убежит, а с ним и душа хоть чуть освободится.

Это так положено: держать в плену не только тело, но и взгляд. Здесь не хватает горизонта: взгляд все время упирается в высокий трехметровый забор из кривых грубо побеленных досок — справа беленый забор, слева забор, сзади, спереди — кругом забор. По верху забора еще и путанка проволоки под высоким напряжением. За забором видны верхушки ближайших перелесков, и в первое время по приезде в лагерь после тюрьмы и на эти-то чахлые елки да березки глядишь — не наглядисься. Кажется, в этих перелесках жизни куда больше, чем в крышах поселка, где, должно быть, единственное двухэтажное здание — казарма роты охраны, — оттуда целый день раздаются марши, строевые команды и учебная стрельба... Если Дима побежит, они его поймают.

И только в одном месте за забором — там, куда летом садится солнце, на северо-западе — виден далекий холм, покрытый редким вырубленным лесом. Туда-то по вечерам и ходит погулять тоскующий взгляд зэка — и больше некуда, кругом все побеленный забор — и сегодня, и завтра, и на пять, и на десять лет — все один и тот же забор. Кругом забор. Куда ни помотришь — забор. Перед забором — запретная зона, «запретка», ряд колючей проволоки, за которой, еще и до забора не

дойдешь, — смерть твоя: по эзку, вышедшему на запретку, охрана стреляет без предупреждения.

Я — советский политзаключенный. Когда меня вызывает начальство, то, входя в кабинет, я обязан представиться: «Осужденный такой-то... статья такая-то... срок такой-то...» Срок у меня — шесть лет лагерей строгого режима и пять лет ссылки... Шесть лет забора.

По углам зоны, высоко на сваях над забором, торчат четыре будки — в них круглосуточно, каждые два часа меняясь (а в морозные дни чаще), дежурят автоматчики. Оружие у них новое, вороненое, хорошо чищенное и смазанное — оно выглядит живым и современным на фоне мертвенной побелки забора иazole тусклых, каких-то потусторонних лиц самих автоматчиков. Оружие — барин, а эти — его холопы... Большинство из них — должно быть, восемь из десяти — из Средней Азии или с Северного Кавказа, или из Тувы, из Бурятии. Одевают их плохо — видимо, чтобы не уснули на вышках, — и поэтому в морозы они постоянно пляшут, громко стуча сапогами по дощатому полу вышек — так громко, что мешают спать в карцере — он расположен под одной из вышек... Так и живем мы под стук сапог да под строевые песни из-за забора.

Но еще и кроме забора меня охраняют. Я под надзором. Ежедневно меня четыре или пять раз обыскивают, обшаривают карманы брюк или бушлата, залезают за голенища сапог, заставляют снять шапку, заглядывают под подушку в спальной секции, под матрас, даже полотенце на спинке кровати перетряхивают.

Обыскивают надзиратели-прапорщики — вдвоем, втроем, — офицер рядом стоит, смотрит, а в спальной секции и сам лезет в мою тумбочку, роется в письмах — полученных и написанных для отправки, — лезет рукой глубоко в вату матраса... Глаза тусклые, сонные или красные с похмелья...

Идешь на работу — обыск, на обед — обыск, с обеда — обыск, с работы — обыск. Приходишь с работы в секцию и узнаешь, что без тебя и тут шмонали и вся тумбочка перерыта, книги, тетради — все на койку выброшено, заправленная, было, постель, разворочена...

Сюда на зону из тюрьмы меня привезли поздней ночью, и хотя приехал я сюда после девятимесячного содержания в камере, после этапа и пересыльной тюрьмы — и всюду были постоянные обыски, изъятия, запреты — и здесь меня тщательно, до гола раздели, обыскали, отняли, о т м е л и еще какие-то остатки домашних вещей. Здесь ничего с воли не положено. Входишь в зону голый. Одежду, обувь, шапку — здесь дадут, здешнее, форменное... И спустя много месяцев, перед тем, как объявить мне об освобождении, меня снова завели в дежурку внутрилагерной тюрьмы, раздели догола и снова обыскали, только теперь о т м е л и то, что у меня в лагере запаслось дорогого мне — записи, письма, книги, прочитанные, с пометками на полях.

Иногда, когда оглядываешься назад во времени, кажется, что и держали-то здесь только для того, чтобы постоянно обшаривать, ошупывать, оглаживать — словно для этого мы и нужны им были, чтобы постоянно быть у них под рукой для удовлетворения этой их омерзительной потребности — ошупать, залезть к тебе под мотню... Я все время ощущал себя в плену у мерзавцев. Зачем я им нужен был? Что они искали? Почему они держали меня за этим забором с автоматчиками, с собаками, с обшаривающими мерзавцами? Неужели только за то, что я позволил себе думать и писать? ...Меня арестовали дома, в Москве, утром 19 марта 1985 года. Дети и жена спали. Я ходил гулять с собакой, по пути зашел в магазин. У меня гостил мой давний знакомый, и я купил довольно много всего к завтраку — и с полной сумкой в одной руке, с поводком, натянутым собакой, в другой, — я и вошел в подъезд. Тут-то они меня и ждали.

Собственно, в тот момент, когда я вошел в подъезд, здесь никого не было, но едва за мной закрылась дверь, тут же из всех темных углов, из ниши под лестницей, от лифта — отовсюду вдруг появились люди, и на площадке, наверху того пролета лестницы, по которому мне предстояло подняться к лифту, стоял их начальник. Я был внизу с покупками и с дворнягой Тютей и смотрел на него вверх. Мне предстояло подняться к

его ногам... Я пошел к почтовым ящикам и стал доставать газету, достал, плохо соображая, но все же просмотрел...

«Здравствуйте, а мы к вам...» Тут только я сделал вид, что его увидел. Но это была, конечно, слабая игра. Их было человек пятнадцать. Группа задержания. Я был особо опасный государственный преступник... И они вошли, втиснувшись в два лифта. И потом вошли, втиснулись, черным потоком влились в двери квартиры, в судьбу моей семьи. Младшая дочь, четырехлетняя Катя, обрадовалась: сколько гостей сразу!

Нет, у меня нет к ним ненависти — только омерзение.

22 февраля 1987 года. Письмо в зону.

Папа! Я пишу тебе самое плохое: мама больна. Может быть, ты еще в Москве на свиданиях это заметил. Мама больна, и позавчера ее тетя Катя и дядя Витя отвезли в психоневрологический диспансер. У мамы расстроены нервы. Она в диспансере пробудет два месяца. Сегодня у нее была бабушка. Вчера приехала матушка Анита, и мы с ней завтра пойдем в церковь. Вчера, сегодня, завтра...

Мама написала для меня письмо. Просила приехать, но нельзя, детей не пускают.

Мы с бабушкой, все в порядке. Катя сейчас играет с соседским Левой у нас.

Папа! Бандероль мы отправить не могли, так как мама спрятала письма и не давала мне прочитать. И я ничего не знала...

Теперь школа. Все в порядке. Сегодня мальчишек поздравляли с днем Советской Армии. Игры были одинаковые, их девчонки всем купили. Игры для дошкольного и младшего школьного возраста. Это шестиклассникам! С уроками все в порядке.

Художка. Все нормально. Сейчас рисуем композицию на космическую тему, на конкурс в Австрию (международный). Я делаю смешную «Планету летающей посуды», где инопланетяне летают в посуде: в кастрюлях, в утятницах, в сковородках и в ложках.

Все в порядке.

Катя здорова, поет мало. Писать, читать не собирается. У нее шатаются два нижних зуба — первые!

Папа, ты волнуешься, что письма не дошли. Но они идут долго, свое первое письмо я написала через неделю после получения твоего первого.

Матушка Анита отправила тебе письмо и открытку. На всякий случай повторяю главное: могу ли я сама с кем-нибудь приехать на свидание в весенние каникулы, хочешь ли ты, чтобы это было личное свидание, тогда уточни число. Сразу же перечисли, что можно и нужно взять с собой — так, чтобы после свидания тебе передать. Если личное, что специально ты хочешь из еды?

Катенька уже спит.

Мы тебя целуем.

Соня.

(Приписка в том же письме взрослым почерком.):

Левушка, еще раз не волнуйся за Наташу, сейчас уже гораздо лучше, хуже было все это время без помощи. И для детей, и для тебя сейчас так лучше, ты уж поверь. Очень много тебе писала, надеюсь, что получишь. К сожалению, потом такого «урожая» не жди, без меня одна Сонечка так не раскачается — придется довольствоваться малым. Береги себя. Это главное. Не знаю, можно ли давать тебе телеграммы, но попробую. Дело в том, что хочется запросить относительно бандероли... Привет тебе от бабушки, она очень много помогает все это время.

Целую,

Анита.

5 марта 1986 года. Письмо из зоны.

Родные мои, любимые! Получил, видимо, все ваши письма... То, что Наташу положили в больницу внесло ясность в мои представления о вашей жизни, до сего дня мучительно неопределенные. Что же делать, надо все принимать, как есть.

Милая наша матушка Анита, спаси тебя Господи с твоей добротой. Пиши мне не обязательно заказные — пока вот получаю. Конверты и бумагу не присылай — все есть... Разговор о свидании не актуален, вернемся к нему несколько позже...

Если еще не отослали бандероль, то нужда в теплых вещах отпала, — по крайней мере, до следующей бандероли (через 6 месяцев). Не горюйте, не так уж это и важно. Я ничуть не мерз, все есть и без того...

Что же еще? Сонюшка, письма твои хороши, но только тогда, когда ты не просто пишешь: «в художке в порядке», «в школе нормально»... Теперь, когда мамочка в больнице, пиши особенно подробно и часто — но уж раз в неделю — **обязательно!** Приветы не передаю персонально, но само собой разумеется, тем, кто вам помогает, мой поклон и признательность — и родным, и соседям, и друзьям.

Целую вас, родные мои.

Пишите, пишите и пишите.

Лева.

19 марта 1985 года. Письмо в зону.

Дорогой Лев Михайлович!

Пишу тебе, наконец, узнав недавно адрес. Должен кое-что сообщить. Может, ты это знаешь, а скорее — нет.

Дело в том, что Наташа очень сильно больна, причем — давно. Сейчас она уже три недели в психбольнице, будет там еще месяц. Дело идет на поправку, она начала набирать вес, врачи надеются, что все будет в порядке. Попад в больницу, она снова стала общительной, радуется встречам, любит вспоминать Озеро. Мы навешаем ее регулярно, она много и охотно ест, разговорчива. Нормальна во всем, кроме двух «пунктов». Об этом подробнее.

В этот, столь неприятный для нас год, мы общались с ней вплоть до лета, поддерживали ее, как могли. А потом она исчезла. Не звонила, не открывала дверь. Мы думали, она уехала. Увидели ее только раз, в сентябре, она была очень холодна,

замкнута. Потом опять был большой перерыв. Соня и Катя приезжали в гости довольно часто, но она сама от общения уклонялась. И так было до начала марта.

Теперь о болезни. Сначала, не в силах жить с тем горем, которое на нее свалилось, Наташа вытеснила из себя сам факт твоего преступления закона и она вообразила, что все это большая игра, в которую втянуты **буквально все**, эти **все** и морочат ей голову, а на самом деле у тебя все хорошо, ты где-то счастлив со своими друзьями и родственниками. Отсюда настороженность ко всем, самоизоляция, мрачное одиночество, нарастание вражды к тебе.

В таком состоянии она была на суде и после. Ты с ней во время свидания в Лефортове виделся уже с **больной**. Ничего не знаю о вашем свидании, но вышеизложенное прими за факт. Наверное, свидание было не таким, каким должно было быть.

В конце декабря она пыталась вскрыть себе вены, но все, к счастью обошлось. Дети в это время были под Вологдой у матушки Аниты, а Наташа, очнувшись, под Новый Год бросилась туда, хотя вначале собиралась приехать к нам. Уехала налегке, но, Бог хранит, добралась благополучно, даже не заболела. Кинулась она туда под воздействием галлюцинаций: видела девочек мертвыми, струсилa. Девочки, естественно, были в порядке, она вернулась и — пошел новый этап болезни.

Вытеснив тебя и то, что с тобой произошло, из своего сознания, она должна была найти себе другую поддержку. И нашла. Появилась мысль, что жив ее отец и его надо найти. С этой идеей она приставала к Елене Николаевне, с которой возобновила отношения, ранее прерванные. И вот в конце февраля она стала проявлять свою ненормальность уже перед посторонними: приставала к какому-то старику в вашем доме, уверяя, что он — ее отец.

Елена Николаевна и до этого считала, что ее надо лечить. А тут, при помощи соседей, ночью, ее отвезли в психиатрическую больницу (обычную, у метро «Калужская»). Там мы ее и увидели в первый раз с сентября, слабую, худую, постаревшую, но какую-то успокоенную. Условия у нее хорошие: чисто, та, врачи внимательны. Поговаривают о назначении ей пенсии

на год. Она была общительна при нашем свидании, но насчет тебя и папы несла чепуху. Путалась в противоречиях и не могла из них выбраться.

Через неделю, 8 марта, она была уже много лучше, но оба «пунктика» были при ней. Хочет лечиться, стала лучше относиться к врачам. Ждет встречи с детьми, собирается «прибрать в доме», то есть все привести в порядок (до этого была разруха).

Девочки с бабушкой Еленой Николаевной. Она (бабушка) от ответственности и внутренней энергии даже помолодела. Хозяйничает, суетится. Представляешь? Но настоящий глава дома — Соня. (Лева, в своем воспитании ты был совершенно прав.) Она очень повзрослела, командует в доме ответственно и разумно. Ходит на занятия в художественную школу, хорошо учится, не болеет (не время). Катя стала совсем большой красивой девочкой — общительна и кокетлива. Пока в доме есть все. Не беспокойся.

Зная твои письма, Лева... О свидании с Наташей и детьми ты пока не думай! Ей нужно поправиться. Не думай... Наверное, она скоро выздоровеет, за детьми мы непременно присмотрим. Да и за ней тоже.

P.S. Елена Николаевна написала письмо на Съезд с просьбой о послаблении тебе. Результатов пока нет.

Главное, береги себя, не делай новых глупостей!!!

Целую! И целуем!!!

(подпись неразборчива)

Конец марта 1986 года. Письмо из зоны.

Родные мои, любимые мои девочки! Как вы там? Натанька, солнышко мое, ты-то как там? Все время думаю о тебе. Что же ты, родная моя? Как же это душа твоя так затуманилась и от меня отдалилась? Возможно ли? Ведь я давно уже на многое в этом мире смотрю твоими глазами, а уж о себе самом — точно в твоих понятиях думаю. Ты — жизнь моя. Видно, все-таки как-то душа твоя замерзла и плохо меня ощущает, если такое

отдаление, отделение было возможно. Но я, родная моя, уверен, еще потеплеет у тебя. И молюсь, и верю, что так будет... Может, напишешь? Не надо много — хоть 2-3 строчки...

Получил я от вас и еще письма, и бандероль, и деньги. Хорошо! Больше всего меня порадовала каткина песенка — хожу и пою себе: «Жили были два кота, съели каши два горшка», — и вроде бы все у меня прекрасно, пока пою. Жаль только, песенка короткая, быстро кончается. А поэтому, если хотите, чтобы мне жилось лучше, шлите еще и еще каткиных песенок...

Милая наша матушка Анита, спасибо и за письма, и за бандероль, и за деньги — да только ли за это! Бандероль замечательная... Спасибо, что заботишься о детях...

Что же о себе? Живу. Здоров. Теперь, после бандероли, в пределах обстоятельств никаких материальных нужд нету. Все нормально. Голова постепенно возвращается к мыслям о XVIII веке, о Радищеве, о Пушкине. Начал читать об этом... Но душа занята только вами, родные мои. Что там бабушка Лена? Я очень хорошо понимаю и чувствую, что весь дом на ней, и сил, видимо, не остается... Поклон ей низкий.

Лева.

Конец марта 1986 года. Письмо в зону.

Милый мой, дорогой Левушка! Такой я себя перед тобой чувствую виноватой — и в том, что раньше мало писала, и в том, что плохо старалась для Наташи, раз мои старания так мало дали... И в том, что не все смогла предвидеть, а то бы раньше проявила больше энергии и по отношению к Наташиной болезни, и в заботах о тебе, а то ведь и бандероль вышла, по-моему, «типичное не то». Но никак раньше было не вырваться, то я болела, то Мишка. Мы ведь с тобой тут даже про свои дела забыли — хорошо Таня есть. Хотя, конечно, я туда уже дважды успела съездить. Должна сказать, что и среди бунтаров есть неплохие люди. (Сын матушки Аниты — Юлиан Эдельштейн, преподаватель иврита, в это время отбывал трехлетний срок заключения в лагере под Улан-Удэ. — Л.Т.)

Если в ответе Соне ты подтвердишь, что все получено, я тебе скоро еще напишу. А пока что о главном. Наконец вот решились Наташу положить в больницу. Мы все знали, что это надо было сделать давно, с самого начала, но сперва боялись за тебя, а потом надеялись на лекаря - время... В результате мы ничего не добились, а только запустили болезнь, а из-за этого и о тебе почти ничего не знали, ведь даже ни слова о твоей просьбе относительно бандероли не могли добиться.

За Наташу не беспокойся, дома для нее было значительно опаснее. А теперь здесь бабушка, соседи помогают, да и я ведь не забуду, только разорваться не могу... Наташа уже звонит домой, и голос намного спокойнее... Трудно сейчас что-либо предвидеть, но я не очень думаю, что она и после больницы захочет к тебе приехать — разве что чудо.

Конечно, одну с детьми мы ее все равно не отпустим и тогда. Но пока что мы с тобой будем договариваться о свидании с Сонею. Либо со мной, либо с кем-нибудь посolidнее, но весной можно Соню к тебе приехать...

Милый ты мой, думаем — и о тебе, и о всех твоих, что можем — делаем (ведь Наташа почти месяц была зимой с нами в деревне и в городе, и за весь этот год она так хорошо не выглядела... но что же поделаешь, если она у тебя такая нестойкая). К сожалению, видно, чтобы чем-то помочь внутренне другим, надо и самим большего стоять...

В общем, ты больше думай о себе, надо тебе выдюжить.

Девочки твои в порядке, ни разу, можно сказать, не болели, одеты, обуты, накормлены. Стали совсем большими, взрослеют прямо на глазах. А вот насчет писать — Катю ты сам не научил, а Соне все некогда. Но и она завтра-послезавтра собирается тебе писать... Поздно, мы все ложимся, Кате я уже почитала Биссета, и она вот расписалась на письме. Обнимаем.

Анита.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

В лагере надо жить. Надо выжить.

Как бы ни было у тебя на душе, надо утром выйти на улицу и сделать зарядку. Надо обтереться холодной водой. Надо улыбнуться товарищам и сказать им: «Доброе утро!» Надо отойти в сторонку и прочитать молитву.

Надо жить. Надо выжить...

В лагере не было голодно. Но пища была грубая, тяжелая, однообразная — каши да каши да капуста. Свежего, витаминного — ничего. И поэтому с первой весной, с первой травкой начиналась охота за витаминами. Лучше всего в ход шла крапива — ее на зоне было довольно много по подзаборным окраинам... Но тоже ведь все становится проблемой.

Чтобы нарвать крапивы нужно время — хоть пять минут. А когда? Если ты на промзоне в цеху за станком работаешь, то в рабочее время не уйдешь, менты заметят, составят акт о нарушении — либо ларька лишат, либо очередного свидания, либо наберут три-четыре акта и в карцер посадят... Так когда же за крапивой? Если начался перерыв на обед — все. Построились и пошли... Значит, все-таки надо как-то исхитриться, чтобы в рабочее время незаметно, когда мент отлучился, рискуя, выскочить да в дальний угол промзоны смотаться, да нарвать свежих верхушечных листьев — в носовой платок завернуть да в карман спрятать, а лучше в тот же платок да в сапог, чтобы на шмоне по выходе с промзоны не отобрали — в сапоги все же не каждый раз залезают.

Если все это удалось, если горстка крапивных листьев в платке — тут тоже свои заботы начинаются: при съеме на обед вставай в строй первым — надо успеть пораньше до барака добежать и за те пять минут, что до звонка на обед остаются, успеть кипятком из титана крапиву ошпарить, обжигаясь, тут же ее порезать, в кружку сложить, — тут и сигнал на обед. Но крапива уже готова — ароматная, крепкая зелень — хочешь, в суп клади, а хочешь, со вторым, где каша да два-три крошечных кусочка мяса, как две-три строгалинки от бефстроганов...

Ели мы и цветы одуванчиков. Просто срывали головки и жевали. Они сладкие и нежные.

Пытался я как-то сделать салат — из подорожника, мать-и-мачехи, листьев одуванчика и крапивы. Было не, чтобы очень вкусно, трава есть трава — но зато зелено и свежо... Но больше я такой салат не делал, потому что оказался он очень сильным биостимулятором. А в лагере тоже не всякую энергию стимулировать надо.

Ближе к осени удавалось иногда набрать горсть рябины — хотя то, что на ветках, раньше нас птицы оклевывали. Нам же доставалось уже то, что на земле, в траву осыпалось. Ничего, горсть наберешь, помоешь — сладость!

Были на зоне и грибы. В одном месте на промзоне рядовки какие-то, в другом, недалеко от столовой, можно было молодых навозников набрать, в третьем, возле ментовской дежурки, луговых опят. Но грибов, понятно, было совсем немного — за лето раза три удавалось нам небольшую кастрюльку потушить — мы их тушили с луком и заливали разведенными в кипятке плавлеными сырками, которые иногда случались в лагерьном ларьке...

Вообще-то рассказывать обо всем этом немного неловко — нам со всякой этой крапивой и грибами сильно повезло — на других зонах ничего этого нет: голая земля, асфальт. У нас же зона была небольшая, но довольно зеленая — десятка, наверное, три или четыре деревьев, много травы, которую осенью мы, зэки, косили после основной работы на производстве — в порядке работ «по благоустройству территории». Куда шло сено — неизвестно, куда-то его за зону увозили.

Но была в зоне и своя живность: на отдельной территории, за особым забором — небольшой свинарник голов на пятьдесят. Хозяйничал тут литовец Генрих Яшкунас — человек фанатично преданный всякой живой твари (он был «истинный» марксист, уже многолетний зэк — и не по первому сроку! — сидевший за то, что обличал правящих марксистов как «неистинных»). Преданность Яшкунаса делу (не марксизму, а свинарнику) постоянно создавала какую-то напряженную атмосферу во-

круг свинофермы. Дело в том, что обычному эзку на свиней решительно наплевать — хоть они все передохни, — тем более, что мясо шло за зону на ментовское потребление. И бывало, у работающего Яшкунаса с ленивыми помощниками доходило чуть не до драки...

Работа на свинарнике, со стороны-то глядя, и мне нравилась, и когда пошел слух, что Яшкунаса увозят, — его срок уже к концу шел, — я начал интригу через тогдашнего очередного яшкунасова помощника — чтобы он сказал по начальству, что вот-де есть человек, который не прочь... Но интрига была грубо пресечена: уполномоченный КГБ, мордатый мужик с тонким бабьим голосом и бабьей же задницей — фактический безоговорочный начальник зоны, перед которым и майор-начальник вытягивался и честь отдавал, а прапорщики и вовсе деревянели, — вот этот вот самый уполномоченный, без которого ничья судьба в лагере не решалась, сказал тому моему ходо-дате, что меня на ферму пускать нельзя. «Этот писатель, — сказал он, — не скрывая своего презрения, — выйдет из зоны и начнет мемуары писать». Как же они там с этой фермы воровали, если он боялся и через много лет (да еще выживу ли!) каких-то разоблачений.

Все-таки слово — великая сила! Вон как в страх-то вгоняет. Но и страдать за него приходится — не попал я на ферму, куда и шел только потому, что там, за тем же заборчиком, еще и тепличка была, да и вообще было это место чуть подальше от ментовского глаза, а значит, летом можно было бы и грядку свою вскопать и посадить что-нибудь, — у человека, державшего тепличку, и семена были... Ничего, заел я эту свою беду горстью рябины, да и забыл про нее. Тем более, что скоро меня и раз посадили в карцер, и другой, и третий, а еще раньше и длительного, трехдневного свидания с семьей лишили — и пошли п р е с с о в а т ь по всем здешним правилам, а там и вовсе на четыре месяца упрятали в ПКТ (помещение камерного типа — читай: внутрилагерная тюрьма) — и вышел я зимой оттуда «тонкий, звонкий и прозрачный», и сил уже не было на свинарнике работать, хоть бы и поставили...

Но нет, все равно надо было каждое утро вставать на зарядку. Обтираться холодной водой. Улыбаться товарищам. И ждать весны, чтобы сорвать первый пучок крапивы.

В лагере надо жить. Надо выжить.

2 апреля 1986 года. Письмо из зоны.

Сонюшка родная, девочки мои любимые — и маленькие, и старенькие. Письма ваши — не знаю, все ли, — но получаю регулярно. Меня они и огорчают, и радуют. По письмам чувствую, что хоть и тяжело вам приходится, но ничего, тянете. Так ли? Как там бабушка Лена справляется — дай ей Бог силы и здоровья! Единственное, чего не хватает в твоих письмах, Соняша, — подробностей о Наташе. Как она там? Что говорят врачи? Впрочем, в последней открытке есть обещание написать побольше. Подожду... Но я все получаю письма — и от тебя, Соняша, и от матушки Аниты, и даже вот от Леши получил письмо (получил и, читая, почувствовал, что становлюсь слаб на слезы, — если и не заплакал от радости, то был близок к тому...) — так вот, от вас получаю, а вам о себе — ничего... Ну что же, родненькие мои девочки, попробую вот о себе побольше.

Что же я? Я совершенно здоров... Когда я впервые обрил бороду, то показался себе очень старым и противным — может быть, потому, что борода — это «грим» значительной, вернее, значимой, старости, а тут значительность сошла с бородой и мыльной пеной, а старость осталась и было непривычно. Но ничего, теперь я к этой физиономии в зеркале привык — вполне в соответствии с возрастом и положением. Даже и не такой уж старческой кажется. А когда матушка Анита прислала такую замечательную электробритву, и я гладко и без раздражения выбрит — то и вовсе спокойно гляжусь в зеркало... Я сыт. Питаюсь не хуже, чем в подмосковном пансионате «Чайка» (хуже, чем там, я вообще никогда и нигде не питался!). Одет достаточно тепло, а после матушкиной бандероли — уж тем более не замерзну. Да и наступила весна... К слову, климат здесь прекрасный, здоровый. И воздух чистый, уральский...

И уж тем более вы не должны тревожиться за мое душевное здоровье. Словом, я здоров вполне. Жизнь должным образом упорядочилась. Ежедневно я стараюсь часа по два заниматься. Читаю по-английски. Можно даже сказать, занимаюсь английским серьезно — и после стольких лет перерыва занимаюсь с неожиданным удовольствием — видимо, мои занятия русским языком дали и новый вкус к английскому. Вообще за последний год я очень много читал — от Гомера до Леви-Стросса... Последнее, что прочитал — в сборнике английских пьес (на английском), который, к сожалению, был у меня на руках всего несколько дней, с удовольствием прочитал семейную драму того Шеффера, который написал и нашумевшую пьесу о Моцарте — ту, что так не понравилась мне у Товстоногова. Но все же, прочитав, подумал: вам бы, милые, их проблемы семейные! Сейчас наслаждаюсь Шервудом Андерсоном (на английском же) — вот безоговорочно прекрасный писатель, но до Чехова, понятно, сильно не тянет...

Книги я здесь могу получать только через книжные магазины — наложным платежом. Правда, здесь возможности довольно широкие, в принципе, можно получить книги из любого магазина страны — скажем, я недавно получил толковый английский словарь Хорнби (не большой, к сожалению, какой я запрашивал, а учебный — но для моих нынешних нужд пока и этот хорош). Но понятно, не все доступно. Вот очень бы нужен недавно вышедший томик Романа Jakobson (кажется, в «Прогрессе»), но понимаю, что дефицит, и не знаю даже, какой магазин мог бы выслать. Но вместе с тем, скажем, «Контексты» или «Проблемы структурной лингвистики» и многие другие хорошие книги сюда поступают регулярно. Словом, книги есть, а значит и есть, что делать, а поэтому я исподволь начинаю подбираться к пушкинской теме...

Пишите, пожалуйста, нет ли пропуска в ряду моих писем (они пронумерованы все) и возьмитесь нумеровать свои. Целую вас, любимые мои! Обо многом, Соняша, хочется еще сказать тебе, но это уже в следующем письме.

Л.

5 мая 1986 года. Письмо из зоны.

Девочки мои любимые! Вот горькое известие: мне было объявлено, что я лишен длительного свидания — то есть, того самого, о котором так мечтал и на которое ждал вас всех. Не то, чтобы этого нельзя было предвидеть... но все равно горько. Так что ехать вам не надо. Понимаю, что вас это тоже огорчит, но что же делать, если за все, что происходит в моей жизни, огорчениями и горем приходится вам расплачиваться. Что же делать... Как ни трудно, а будем учиться все принимать с благодарностью — даже и само горе... Что же писать... Живу. Работаю. Зимой работал кочегаром, сейчас вот ремонтирую те печи, которые топил зимой. Впрочем, пришлось на несколько дней затопить снова, так как после десяти дней совершенно летней (до +25°) погоды задул северный ветер, выпал и лежит снег... Ладно, что-то не пишется мне сегодня... Как ты там, Натанька, горюшко мое? Соняшины письма весьма информативны, спасибо, родная, — последнее было о посещении Наташи в больнице...

Катечка любименькая, читаю я с огромным удовольствием и то, что ты мне пишешь, и следующее свое письмо я напишу тебе, а пока вот: **ПАПА ОЧЕНЬ ЛЮБИТ КАТЮ.**

Целую вас, родные мои.

Лева.

12 мая 1986 года. Письмо из зоны.

ПРИВЕТ КА-ТЯ! КА-ТЯ УЖЕ НЕ МА-ЛА. КА-ТЕ 6 ЛЕТ. УРА! ПА-ПА ЛЮ-БИТ КА-ТЮ. ХО-ЧУ ПО-ТРО-ГАТЬ КА-ТЮ. ПИ-ШИ МНЕ КА-ТЯ. ПА-ПА.

Милые мои девочки! Сначала по делу: вы, должно быть, уже прочитали о лишении меня свидания. Горько, но поучительно: в моем положении нельзя ничего хотеть, нельзя ни о чем мечтать — слишком сильны разочарования. Что же, научусь и этому... Теоретически остается еще возможность короткого свидания (т.е. 2-3 часа). Даже если эта возможность осуществима

(в чем я совсем не уверен) — надо ли? Не знаю, Натанька, смотри сама. Здесь условия такого свидания еще менее располагающие, чем были в Лефортове, — мы не сумеем даже коснуться друг друга, между нами будет стекло. Я, понятно, был бы счастлив посмотреть на тебя и Соньку (Катьку везти уж точно не нужно), но не уверен, стоит ли нам пускаться в это рискованное предприятие — гарантий, что увидимся, нет никаких, — положение можно проверить только самим фактом приезда. Тут не нужно специальных дат и договоренностей — ехать можно в любое время. Везти ничего не нужно — ничего не передашь (разве, может быть, 2 футляра для очков). Приедешь и здесь напишешь заявление — только еще раз: смотри по самоощущению, наличию денег... и еще: в случае неудачи, не будет ли это дополнительной травмой? Боюсь за тебя, родная моя. Я, пожалуй, с облегчением узнал бы, что вы отказались от самой мысли о поездке. Да и возможность эта равна и теперь, и летом, и осенью. Смотри...

Ладно, будет об этих делах — они не наши, не в нашей воле, внешние... Лучше я поздравляю всех вас с рождением Кати-девочки. Я хорошо помню, как это было шесть лет назад и как я был счастлив — на всю жизнь. Когда родилась Сонька, это было иначе. Сонька была, явилась как бы сама по себе, сама собой разумеющаяся, свыше данная — и нам только принять эту данность оставалось. Катька — иначе. У меня тут такое ощущение, что это мы предъявили свою волю, и нам ответили, нам было дано...

Что-то давно от вас нет писем — последнее от Соньки то, в котором о визите в больницу — да еще телеграмма. О том, что Наташа дома, узнал из матушкиного письма — а ваши-то где?

У меня все по здешней норме — здоров, работаю. Как я уже писал, работаю в котельной кочегаром — и пока эта работа очень актуальна, поскольку холодно и еще не вполне сошел снег — все-таки Урал. Читаю. Учусь. Думаю...

Натанька, миленькая, без тебя там, по ту сторону переписки, большое зияние, в которое душа моя постепенно оступается. Что я без тебя?

Я, миленькая моя, как бы и не расставался с вами — все душа вас гладит и ласкает. Понимаю, что вы-то чем дальше, тем больше расстаетесь — и понимаю, что это неизбежно — иной, чем у меня, круг жизни, круг впечатлений. Я не в обиде — напротив, хотел бы, чтобы вы полноценно, по возможности, жили. Была ли перед глазами у тебя молитва, которую я сочинил еще год назад и которую повторяю постоянно: «Благодатная Мария, снизойди светом Твоим к Наташе с детьми, укрой их покровом Твоим, укрепи души их, отведи страдания и болезни, дай им радость любить Тебя и служить Тебе Красотой и Любовью.

Что там Елена Николаевна? Как она вытянула все на себе? Не заболела ли? Кланяюсь ей низко.

Сонюшка милая, как бы это мне внушить тебе на расстоянии, что летом надо работать. Ты, дружок, сильно повзрослела, но не все взрослые — взрослые по-настоящему. Есть взрослые, которые до старости — дети. А взрослый человек — это такой, который отвечает за свои поступки перед своей совестью. И чем раньше почувствуешь это, чем раньше совесть начнет мучать за безделье — тем лучше. Но к собственной совести прислушаться надо. Если постоянно заглушать ее удовольствиями — и совесть угаснет. А что ты тогда такое будешь? Я почему-то верю в твой разум, верю в твою волю. Возьми в толк: людей, наделенных талантом, но пренебрегающим этим даром, Господь карает куда более сурово, жестоко, чем просто бесталанных. Берегись, родная моя. Научись быть серьезной. Боюсь за тебя.

Ладно, любимые мои, — вот кончается бумага, а я ничего не сказал о матушке Аните — да она сама все знает и понимает. Бабушке Вале и ленинградским родственникам привет и поклоны.

Целую вас.

Лева.

28 мая 1986 года. Письмо в зону.

Левонька, миленький, родненький!

Вернувшись из больницы, я увидела совершенно измученную, землистого цвета, бабушку, совершенно издерганную Соньку и Катьку, которая затаенно, постепенно, не сразу пове-рила, что я — это я — ее мама. На другой день она старалась привести в дом всех своих подружек — показать, что у нее есть мама. Если кого-то нельзя было привести, она стояла под окном и кричала: «Мама!» — я выглядывала в окно, и этого ей было достаточно.

С Сонькой была просто катастрофа: после твоего ареста у нее немедленно пропал цвет в работах, было все грязно и тускло, работала еле-еле. Потом пропала линия. Я не знала, что делать, не знала, надолго ли это. И не знала, чем помочь ей. Да и не могла я раньше ей помочь ничем. Сейчас уже все чуть сдвинулось. Делаю ей хвойные ванны. Она поспокойнее. Возвращаются и цвет, и линия. И ее все это радует. Она уже чувствует каждую удачную свою работу, и это ей в радость и спокойствие, и в удовольствие, но все же приходится заставля-ть.

Не знаю, что писать тебе. Даже сердце болит от невозмож-ности написать все-все. Да и физически после больницы писать очень трудно. Похожу по квартире и опять пишу строчечку.

Письма твои получила все. Идут они, примерно, две недели.

Посылаю тебе Катькины песенки. Она все поет и пританцо-вывает. И научилась кататься на велосипеде. Научилась очень быстро и была счастлива. Вчера был ее день рождения.

Начала писать 26-го мая, а сегодня уже 27-е. Отправляю, не дописав про день рождения, а то прособираюсь. Уже хорошо, что писать начала, а то после таблеток больничных писать очень трудно.

Целую, миленький.

Наташа.

Уже 28-е — иду опускать тебе письмо и поведу Катьку в по-ликлинику — оформлю ей медкарту для школы — пойдет в

подготовительный класс, а то ей дома скучно.

Писать тебе — так странно, я будто бы и не расставалась с тобой — ты рядом и все знаешь и без писем.

Целую.

28 мая 1986 года. Письмо в зону.

Дорогой Лева,

с огорчением узнал, что твои девочки к тебе не едут. Жаль, потому что ты бы порадовался за них и успокоился — как порадовались и успокоились мы, когда приехали поздравить Катюшку с днем рождения. Праздник удался на славу — было много детей, и торт со свечками и масса всяких шипучих лимонадов, и, главное, обстановка праздника — улыбающаяся Наташа, красавица Соня в вышитой белой блузке и красной юбке — невеста из гоголевской сказки! Елена Николаевна на кухне в боевой готовности. В доме чисто и светло, книги и рисунки Сониши на стенах... Пишу тебе не для того, чтобы «отчитаться», а чтобы ты почувствовал изменившуюся атмосферу дома, связанную, в первую очередь, с улучшением Наташиного состояния. Впрочем, она, надеюсь, тебе сама напишет. Забыл сказать, что наш Алешка с восторгом и завистью изучал Сонины дипломы и медаль из Японии. Ты знаешь о них? — За конкурс рисунков!

Письма твои читал...

Держись, Лева. Желаю тебе мужества и сил. И здоровья — это тоже важно. (Насколько это может от тебя зависеть, говоря твоими словами, «по обстоятельствам».) Все тебя помнят и присоединяются к моим пожеланиям. Домашние тебе кланяются.

Жму руку.

Алексей.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Вот они выхватили тебя днем с работы, наскоро приговорили — минутная формальность — и, захватив в жилом бараке твою кружку и ложку, вдвоем, втроем обступили, повели, по-ташили.

И все встречные знают, куда тебя ведут. Спрашивают: «Сколько дали?» «Тринадцать». Тринадцать суток ШИЗО (штрафного изолятора), карцера.

Это в зоне еще особая зона. За нашими заборами еще особо забором выгорожена. Совсем глухо отгорожена от мира. И домишко слепой — на окнах деревянные бельма повешены.

Темная камера. Стены — грубо застывший наляпанный бетон, бетонная «шуба». Холодно. Сыро. Стены сырые, с потолка капает, и на полу вдоль наружной стены собирается лужа... Голые нары — и те днем подняты к стене, закрыты на замок. Днем — от подъема до отбоя — сидеть можно только на бетонной тумбе с деревянным кружком-сиденьем и облокотиться можно только на бетонный холодный стол — но надолго не облокотишься, от холода начинают ныть суставы.

Тут всякая мелочь становится значима... Мне вот, к примеру, везло. Из четырех длительных карцерных сроков три я провел в камере, где одни нары (а всего их в камере четверо) — так вот, одни нары из четырех были недавно отремонтированы, и их почему-то упустили покрасить. А красят — жесткой нитрокраской, поверхность становится гладкой, стеклянной, холодной. А ведь ни матрасика, ни хотя бы бушлатика — под себя постелить — ничего этого у тебя нету, только тоненькая хлопчато-бумажная одежонка на тебе — ложись на голые нары и спи. Да хорошо ли уснешь на этом холодном стекле... Но те некрашенные нары были иные — струганое сухое т е п л о е дерево, и если удавалось еще пронести хотя бы половину газеты из рабочей камеры или из бани — это и вовсе была удача, — газетой можно укрыться, газету можно к ногам под носки записать.

Газета, да и любая бумага — спасенье в карцере. Хорошо тем, кто получает много писем. Газеты-то в карцер не достав-

ляют, а вот письма обязаны приносить по мере их поступления. И вот мне как-то за двенадцать или тринадцать дней карцерного сидения пришло семь писем от родных и друзей. К концу этого срока я ложился спать, позасунув развернутые письма под майку, и было мне тепло и спокойно. Любимые грели меня.

Но сама возможность иметь в камере хотя бы клочок бумаги зависит и от того, насколько крепко тебя прессуют. Захотят, и письма задержат до конца карцерного срока, или вовсе будут конфисковывать все подряд, что тебе с воли приходиться будет, или и без конфискации станут выкидывать, тебе ничего и не объясняя даже. Когда-то, наконец, случится, придет письмо — родные пишут: шлем, шлем письма, — а нет, не получал ничего месяцами.

Если сильно прессуют, то в ШИЗО и из рабочей камеры не дадут клочка бумаги пронести, будут каждый раз на шмоне догола раздевать, каждый шовчик трусов прощупают. Не только что газеты у тебя не будет — и для парашиты, для санитарных нужд станут бумагу давать размером с почтовую марку — пойдешь, управься...

И наоборот, если велено им отпустить пресс или только начали прессовать и еще не сильно закрутили, то шмонать будут не очень жестко, можно и газетку притырить, и еще коротких проволочек из цеха натащить, чтобы на ночь ими приторочить куртку к брюкам — и получится такой комбинезон, спальный мешок — пусть из тонкой бумажной ткани, но в него уже можно с головой залезть и надышать немного — все легче.

Здесь в карцере, как нигде, ощущаешь ничтожество своей телесной оболочки. Я слышал, как в соседней камере в голос плакал старый закарпатский крестьянин Иван Новак (мальчишкой он был мобилизован немцами: теперь десять лет строгого режима — старику). В карцере ему было нестерпимо холодно. Он плакал. Менты смеялись в коридоре, заглядывая в глазок его камеры...

Плоть здесь ничтожна... Время, проведенное в карцере, — это время чистого духовного опыта. Нигде и никогда не быва-

ет так светла молитва, как здесь. Нигде и никогда не чувствуешь так близость Света, к которому и обращена молитва... Никогда и нигде не дается тебе такая ясность мышления и миропонимания.

Здесь являются высокие слова. Вся бетонная поверхность стола, покрашенная все той же стекловидной краской, исцарапана надписями — по-грузински, по-литовски, на иврите. Что там — жалобы, стоны? Да нет, вряд ли. Вот по-русски: «И будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня... Претерпевший же до конца, спасется».

И еще:

**Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах
И мужество нас не покинет.**

Поэтический дух Ахматовой посетил кого-то в камере...

Вообще-то старик Новак оказался в ШИЗО по какой-то, не помню уже, случайности. Стариков, сидящих «за войну», начальство не прессует. С них что взять, они материал послушный. Их здесь держат просто из принципа «ничто не забыто, никто не забыт» — они и на воле никому не помешали бы. Многие из них в момент ареста были на руководящих должностях, были в партии — нормальные советские люди. Иное дело — «семидесятая статья», политические — эти не когда-то, сегодня активны. Эти себя не виноватыми — правыми считают. Эти и после суда при своих взглядах. Вот этих-то и таскают по карцерам, обламывают. И чем крепче человек стоит, тем больше над ним звереют...

Я никогда не мог понять, что им от меня надо?

Кто я такой? Почему оказался в лагере? Почему теперь в карцере?

Я — писатель. Я — думал и писал. Мне казалось, что я кое-что понял в жизни страны, в жизни общества. Я сказал об этом вслух. Я могу понять, что мои идеи не каждому близки. Но ведь это только идеи! Они подкреплены доказательствами. Они опубликованы, их прочитали и услышали по радио тысячи

читателей и слушателей — их теперь нельзя убить в карцере. Их можно только опровергнуть другими идеями.

Но нет, мои идеи здешнее начальство не интересовали. Никто из них, кажется, и не знал, за что я сижу. Им сказали только, что я — особо опасный преступник. Они знали только, что я не раскаиваюсь, что я упорствую в своих преступных взглядах на жизнь.

«Вы не хотите стать советским человеком», — заявил мне как-то майор, начальник лагеря. Это был приговор. И кому там важно, что именно я доказывал в своих книгах. Известно, что я закоренелый преступник — все! Меня начали прессовать.

Самое страшное — не карцер. Ну, померзнешь немного — ничего... Они знали, что именно для меня самое страшное, они лишили меня длительного свидания с женой и детьми (это за год трое-то суток, максимум, — длительное! — да и тех политических не дают — сутки, двое от силы). Я ждал этого свидания. Жена была больна. Мне казалось, я смогу повлиять на ход ее болезни...

Уже через много дней после, замполит зоны — маленький прыщавый старлей с университетским значком на груди — спокойно сказал мне, что свидания меня лишили именно потому, что я его больше всего хотел. Я онемел от этой откровенности. А он засмеялся, как смеялись надзиратели, когда Новак плакал от холода. Он смотрел на меня открыто и прямо. Ему нечего было скрывать. Это были принципы лагерной педагогики, спущенные сверху. Он их выполнял.

Я не испытывал ненависти к нему — только тоску и омерзение...

Мне с женой и детьми дали короткое свидание — три часа разговора через пыльное стекло. Я даже младшую дочь не смог взять на руки. Даже дотронуться до них не мог — только до пыльного стекла перед ними...

А потом пошли карцеры, карцеры. Из меня пытались сделать «советского человека». Выпустить меня отсюда способным думать и говорить по-прежнему — они не могли. Не имела права. Это была бы их недоработка... Машина крутилась, и сопротивляться ей или искать компромиссов — было моим

личным делом. Только моим личным делом. Решительно никого не интересовало, останусь ли я жив. И это было только мое личное дело.

Однажды в карцере я тоже выцарапал стихи на бетонной поверхности стола:

Заблудилась душа моя в звездах,
Закричал я во сне и проснулся,
Поздно жизнь мне менять, но не поздно
Лба холодным трехперстьем коснуться.

Обратиться очами к Востоку,
Вспомнить восемь стихов от Матфея
И предаться слезам и восторгу,
Перед словом Господним немея.

Конец июня 1986 года. Письмо в зону.

Милый Левонька!

Мы тогда остались и ночевали рядом с тобой, уехали утром. И для детей, и для меня это было очень важно. Катька сказала: «Бедный папочка — живет за забором». Сонька окрепла и успокоилась. Говорят о тебе с радостью — печаль и тоску высказать еще не умеют — все отзовется потом.

Ездили по гостям, к друзьям на дачи...

Никто не представляет себе тебя бритым, а нам ты очень-очень понравился. Все вспоминаем, какой ты.

Миленький, напиши поподробнее, что приготовить для бандероли. О шерстяном белье я поняла, постараюсь. Что еще? Приготовила рукавицы теплые и носки — нужны?

Сонька сказала после нашего свидания: «Вы оба так светились, что мы с Катькой были не нужны» — обиделась. Говорит: «Я вас такими не видела». Миленький, родненький, жаль-то как, что она раньше нас не видела такими, но как хорошо, что все же увидела и отметила и запомнит.

Я все живу радостью нашего свидания. Все вижу тебя. Нашла блоковский «Сиенский собор» и все повторяю. А Жуков-

ского у друзей нет. Поспрошаю еще. Сегодня Троица. Наш праздник. Я знаю — ты с нами сегодня. И очень это чувствую. Так светло.

Оля по молодости своей сказала, что будешь ты старый через пять лет. Разве старый? Дожить бы.

Сонька стала писать маслом. Купила ей краски и холсты. Очень ей понравилось. Акварелью тоже работает. Было вяловато и сухо, но должна освободиться.

Сегодня уже 23-е — Духов день, и сегодня получили письмо от тебя. Не сердись, милый, что не пишем. Соня не пишет — я для этого есть, а для меня странно еще писать — ты с нами постоянно, надо привыкнуть писать.

Целуем, родненький.

Наташа.

Ах, пингвин, пингвин, пингвин.

Бело пузо, черный спин.

Это каткина песенка — ей матушка подарила пингвина. Целуем.

Конец июня 1986 года. Письмо из зоны.

Девочки мои любимые, Натанька! После свидания я только на следующий день немного успокоился, и тогда вдруг стало горько — именно вдруг. Какой-то короткой, острой конвульсией — но прошло, а осталась — и до сих пор — радость, что вы были, что я вас видел, что вы такие красивые, умные — и, конечно же, радость, что ты, любимая моя, смотришь здоровой. Надеюсь, подробности вашего обратного пути уже идут ко мне в письмах?.. На этой же неделе получил я и письма — твое, от матушки Аниты два, от Леши, соняшины открытки — и всюду каткины письма и песенки — все получил, прочитал по пять раз и хожу счастливый, пою каткину песенку:

Что бы мне такое сделать

Из изделия вчера?

Что бы мне такое сделать

Из изделия сегодня?

А правда, что бы? Сегодня выходной, идет дождь. День большой-большой, и много сделать можно. Я вот отчитал свой ежедневный час по-английски (в будни вечером, в воскресенье — утром) — и что бы еще сделать из изделия сегодня? Все чаще возвращается сознание к «Онегину»... Скажи, пока ты болела, я и думать не мог, что сумею писать о Пушкине. Так, брезжило что-то в душе, как тоска. Но вот ты здорова — и сознание мое как бы освобождается от спазма... Что мне сейчас важно? Самое интересное и важное сейчас — подумать о композиции, о композиционных принципах, о структуре романа. Почему об этом? Потому что размышления о том, как построено то или иное произведение искусства, какова его конструкция в целом — работа, без которой нет материала ни для того, чтобы понять назначение частностей в самом произведении, ни для того, чтобы сопоставить, сопрячь все произведение в целом и с чем-то вне его, ни для того, чтобы и нашу жизнь сопоставить, сопрячь с пушкинским текстом.

А надо сопрячь!

Каждое произведение искусства хоть немного, но по-разному воспринимается читателем, зрителем, слушателем. Почему? Откуда берется сама эта возможность для разного восприятия? Не содержится ли она не только в различии воспринимающих, но и в неисчерпаемости каждого произведения. И если да, то в чем секрет этой неисчерпаемости? Кому или чему эта неисчерпаемость адресована? Откуда она берется, если художник — такой же человек и оперирует с тем же языком, что и зритель, читатель, слушатель?

(Здесь я должен заранее просить прощения у читателя: дальше пойдет текст сугубо специальный и для многих, может быть, скучный. Я, было, думал отказаться публиковать его, хотел сократить это письмо, но понял, что мне жаль этих филологических размышлений. Сидел вот в бараке за столом, думал, писал. Заходили дежурные надзиратели, заглядывали через плечо — чем это я таким занимаюсь?)

Конечно, когда Сонька начинает свою картинку, она не создает ничего, что можно было бы назвать словом «композиция». Даже набросок самый первоначальный — не скелет

какой-то, который потом обрастает «мясом», но уже и цвет, и пластика линий и форм, и угадывающееся «значение», угадывающаяся связь с чем-то вне самой картинки... Но композиция — это не цвет, не пластика, не «значение», но п р и н ц и п ы, по которым это соотносится, некий мыслимый... все же скелет?

Понятно, что когда к нам в гости приходят Леша с Галей, вы же — если здоровы — не видите в этом визите двух скелетов. Но в кабинете врача, даже если врач — твой друг, ты становишься не Соней, не Наташей, не Катей, а лишь функционирующим организмом, подлежащим анализу, мысленному расчленению, и тут отдельно исследуется и скелет, и состояние внутренних органов, и работа мышц, и работа мозга. И я, врач, должен буду сделать это, даже если ко мне придет мой любимый Леша. И я, литературовед или просто внимательный читатель, должен это сделать, даже если передо мной мой любимый роман Пушкина.

Я хорошо знаю, что всякое сравнение «хромает». Но и не сравнивать мы не можем — так вот и работает наше сознание — то анализирует и расчленяет, вникая в глубину явления (в нашем случае — произведения искусства), то сравнивая, сопоставляя, сопрягая явление с чем-то вне его. Для этой-то работы и нужен определенный набор понятий, как для плотника — набор инструментов. И самые общие из аналитических понятий — к о м п о з и ц и я или близкое к нему современное — с т р у к т у р а. И хотя эти понятия лишь промежуточные в общей системе понятий, помогающих нам постигнуть тайну гармонии, и х нам хватит надолго — до тех пор, когда появится необходимость выйти далеко за их пределы и, может быть, даже оставить их, забыть вовсе. Куда мы выйдем — Бог весть. Там посмотрим...

Так вот первым интересующим меня вопросом композиции «Евгения Онегина» будет — или нет, был, есть и будет — вопрос о финале романа. Помнишь, чем он кончается?

Блажен, кто праздник жизни рано...

...И вдруг сумел расстаться с ним,

Как я с Онегиным моим.

Почему — вдруг? «Онегин» уже куда как хорошо прокомментирован. Все знают, что такое двойной лорнет и кто такая Нина Воронская — сия Клеопатра Невы, — но о финале продолжают спорить, и конца не видать. Почему же — вдруг? Да потому что это решительно противоречит всем законам композиции, по которым создается произведение определенного жанра — роман, есть, оказывается, такие законы, и мы их должны понять.

Вдруг можно закончить элегию — небольшое стихотворение, в котором поэт изливает чувства своей страдающей души: «Не правда ль, ты одна. Ты плачешь. Я спокоен... Но если...» — и никто поэту не попеняет, что чувства его смутны, а стихотворение как бы без конца. Чувства есть чувства, какие уж здесь четкие границы... Вдруг можно закончить поэму или вообще не заканчивать и предложить читателю «бессвязные отрывки», как сам автор определил композиционную особенность «Бахчисарайского фонтана»...

(На самом деле это лишь игра автора с читателем — и в незавершенность, и в нечеткость — мы увидим, что произведение искусства всегда и четко, и завершено.) Но роман! Он даже игры никакой такой не позволяет. У романа должен быть конец. Финал — важнейшая структурная часть романа. Роман без конца — не роман. Уже в пушкинскую пору — да нет, много раньше! — все знали, что роман нельзя легкомысленно закончить «вдруг» — вдруг можно или прервать его, оставить незавершенным... или ... или это совсем не роман.

Хорошо знал законы жанра и сам Пушкин. Знал, что

Должно своего героя
Как бы то ни было, женить.
По крайней мере, уморить,
И лица прочие пристроя,
Отдав им вежливый поклон,
Из лабиринта вывести вон.

Дело не в том только, чтобы до конца довести игру в кошки-мышки, которую каждый романист затевает с читателем в лабиринте сюжета, но в том, чтобы читателю стало вполне ясно,

ради чего игра была затеяна: или чтобы «при конце последней части всегда наказан был порок, добру достойный был венок», или — пусть уж! — «порок любезен и в романе, и там уж торжествует он» — но важно, чтобы автор четко и ясно высказал свою этическую идею. Так понимались законы жанра в предпушкинскую пору. Роман прежде всего — факт искусства, но «при конце последней части» он становится фактом морали. Как произведение искусства (как и картина, как и симфония) он обращен к ч у в с т в у прекрасного, к чувству гармонии, но как факт морали он должен преподать читателю понятие того, что такое хорошо и что такое плохо. Роман — школа. Школа жизни. Романист — учитель. Учитель нравственности. В этой роли его ждал читатель. К этой роли писатель сознательно готовился, в совершенном исполнении этой роли была цель его творческой деятельности. Писатель учил, читатель учился. (Здесь я пытался вспомнить соответствующую мысль из трактата «О романе» из книги «Литературные манифесты западно-европейских классицистов» — и не вспомнил.)

Строго говоря, столь же четкая, хотя, может быть, не столь широкая нравственная цель предполагалась и у всякого иного лит. жанра. Литература понималась как занятие общественно значимое — значимое напрямую, а не только тем, что воспитывает чувство прекрасного, как живопись или музыка. В XVIII веке и ранее, едва ли не со времен Петрарки, само понятие жанра уже содержало жанровое задание и представление о цели, и об адресате. Предполагалось, что язык художественного произведения в той мере подчинен законам логики, в какой подчинен им и язык морали. И поэтому перевод с языка на язык вполне возможен — что же трудного, если логика едина, едина причинно-следственная связь событий в книге и в жизни — и чем ближе к жизни (к Натуре, как тогда говорили), тем лучше. И поэтому речь литературного произведения просто обязательно переводилась на язык политики, морали, на язык межличностных отношений. Ода — царю, герою, вельможе, послание — другу, трактат — ученому собеседнику, сонет, элегия — любимой или самому себе, или потомкам, роман — широкому кругу читателей, ожидающих получить уроки жизни.

Так понимать литературу могли только лица, верившие во всемогущество разума, верившие, что жизнь строго подчинена законам логики, что этим же законам подчиняется и труд художника. Всегда можно было спросить, ради какой цели, ради какой мысли писатель брался за перо. Определенная посылка неизбежно приводила и к выводу столь же определенному, скажем, герои романа, которые вели себя добродетельно, разумно, получали плату счастьем, страсти, пороки неизбежно влекли за собой наказание, горе. Вот потому-то и важен был финал. Именно в финале из лабиринта доказательств писатель выводил читателя вместе со своим героем к свету Истины, к сиянию Истины, Разума, который для людей того времени был синонимом абсолютного Блага. Разумное — значит нравственное... Все это вот и прояснялось «при конце последней части».

Со временем понятие Блага становится более разнообразно, но значимость финала в романе остается неизменной*. (* — «В качестве позиции, с которой ориентируется картина мира в целом, могут выступать Истина [роман классический], Природа [просветительский роман], Народ; наконец, эта общая ориентированность может быть нулевой [это означает, что автор отказывается от оценки повествователя].» Ю.Лотман. Структура художественного текста. М., 1970. В дальнейшем — Лотман-1. Прибавим сюда романтические ценности: Свободу, Любовь — и поставим под сомнение «нулевую ориентированность, которая, скорее должна пониматься как «минус-прием» или как ориентация в системе, недоступной тому или иному наблюдателю.) Эта значимость финала отмечается и до сих пор: «Если начало текста в той или иной мере связано с моделированием причины, то конец активизирует признак цели.

От эсхатологических легенд до утопических учений мы можем проследить широкую представительность культурных моделей с отмеченным концом при резко пониженной моделирующей функции начала» (Лотман-1, стр. 263).

Или вот еще пространная цитата из совсем уж недавнего труда: «Финал — вот что заставляет рассказчика подбирать такие функции и такие их последствия, которые отвечают се-

мантическому смыслу данного произведения, жанра, направления и т.п. Равная вероятность актуализации логических возможностей развитого действия существует лишь до тех пор, пока мы останемся на уровне антропоморфных действий. Как только мы переходим на уровень сюжета, она исчезает». (Г.К.Косиков. «Структурная поэтика сюжетосложения во Франции». В кн. «Зарубежное литературоведение 70-х годов». М., «Наука», 1984, стр. 197).

Словом, если всю эту заумь попытаться выразить попроще, то можно сказать, что ради финальной идеи и пишется роман, и если в жизни человек имеет свободу выбора поступать так или иначе, то у литературного героя такой свободы нет и у автора такой свободы для героя — нет. Конечная идея требует развития сюжета всегда в определенном направлении, требует определенной композиции сюжета. То, что нам казалось столкновением героев и характеров, превращается в столкновение этических понятий. Казавшийся необъятным мир романа — если мы оглянемся на него от последней строчки классического финала — становится лаконичной, удобной для восприятия нравственной формулой... Но понятие, формула — это не из художественного языка — это язык научного теоретического мышления...

Иначе говоря, финал, как категория художественной структуры, как средство перевода художественной речи на язык теоретических понятий, настолько значим, что пушкинское «вдруг» в конце «Онегина» заставляет каждого, кто изучает роман, разгадывать эту композиционную загадку.

Ладно, миленькие мои. Вот я начал с утра, а теперь уже к вечеру — устал так долго писать с непривычки. Что же еще? Тут, конечно, приходит в голову много побочных мыслей — и о композиции соняшиных картинок, и об особенностях композиции лепных игрушек — частично это обсуждал Лессинг в «Лаокооне»... Когда-нибудь поговорим...

Как там, Соняша, твои труды?..

Всем приветы и поклоны.

Целую вас, родные мои.

Лева.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

В слепом домишке лагерного «штрафного изолятора» — тюрьмы внутрилагерной — всего шесть камер. Шесть камер, крошечная баня на одного человека (а запихивают сюда и по трое) и еще просторная дежурка для надзирателей. Здесь, вдалеке от строгих глаз начальства (у них ведь тоже свои проблемы), надзиратели любят собираться ночью, посидеть, попить чайку, потравить анекдоты — все это с громким ржанием, от которого вздрагивает и просыпается забывшийся в карцере трясущийся от холода зэк.

Из шести камер — три камеры для карцера, две — для ПКТ (помещение камерного типа — строжайший тюремный режим, строже обычной тюрьмы) да еще рабочая камера — небольшой цех. Назначено ли зэку полгода ПКТ или неделя-другая в карцере — он обязан работать. И на работу выводят в эту самую рабочую камеру. ПКТ, как правило, выводят в первую смену, карцер во вторую.

Когда сидишь с карцере, то возможность выйти в рабочую камеру — благо. Тут можно даже найти пару сигарет — есть такие укромные места, о которых не то чтобы менты не знали, но в которые им добираться каждый раз лень — они ведь тоже люди с советской психологией и, создав видимость работы, больше того пальцем не двинут — то-то и зэку благо, а то бы вовсе невпродых было.

Сигареты оставляют ребята, сидящие в ПКТ, — им и курить разрешается, они и газеты в камеру получают. В тюрьме закон: чем строже режим у человека, тем больше ему внимания от товарищей. А уж строже карцера режима не бывает. Карцеру — само уважение.

Когда в декабре 1985 года я только еще приехал на зону и здесь, в «штрафном изоляторе» проходил десятидневный карантин, то первое человеческое слово я услышал из дырки отхожего места: «Здравствуйте!» — прошептало мне оттуда. Я поздоровался и представился. «Вы прибыли на 36-ю, политическую зону, — тихо, но с напором шептало в ответ. — Я — Алексей Смирнов, москвич, сию по 70-й статье за издание

«Хроники текущих событий». Сейчас нахожусь в соседней с вами камере — в карцере, уже больше месяца безвыходно. Последний раз добавили десять суток срока за то, что одна пуговица на куртке была расстегнута. Издеваются... Но не во мне дело. Чем вы можете помочь товарищам, сидящим в ПКТ? Там писатель Борис Черных. У него больная печень. Передачку можно оставить в прогулочном дворике в снегу...»

Он ничего не просил для себя. Он говорил о сидящих в ПКТ — Борисе Черных (пять лет лагерей и три ссылки за создание «Вампиловского педагогического товарищества» в Иркутске), о ленинградском историке и поэте Ростиславе Евдокимове (шесть лет лагерей и четыре ссылки за издание бюллетеня, пропагандирующего независимые профсоюзы). Он ничего не просил для себя, хотя уже сороковой день сидел в камере, где одна стена была покрыта густым инаем. Уже потом он мне рассказывал, что ему было не так уж плохо, потому что удалось хлебным клеем склеить одеяло из трех газетных листов — из газет, которые Черных и Евдокимов оставили ему в рабочей камере.

Сидел он в камере не один, а с молодым парнем из Киева, с Сергеем К-о (десять лет лагерей за одно свидание с американским военным атташе. Американец малость не расчихал и решил, что парня можно завербовать «явочным порядком», — и послал ему до востребования в городишко, где Сергей тогда временно жил, письмо, написанное тайнописью, — с инструкциями. Письмо так и пролежало невостребованным — да парню и в голову не пришло бы, что он завербован — пока не вскрыли письмо «заинтересованные лица». Тайнопись проявили — К-о получил десять лет). Так вот, Сергей, с которым я, в свою очередь, тоже в карцере сживал, очень хвалил Смирнова за находчивость: и при газетах всегда были, и курево было, и даже пару раз чайком побаловались — дали знать на зону, и с деталями в цех было прислано... «С ним хорошо сидеть», — говорил Сергей, и это высшая похвала для зэка. А может быть, и вообще высшая похвала для человека в этой жизни.

Хорошо сидеть было с Борисом Ивановичем Черным. Мы сидели с ним несколько месяцев в ПКТ уже через год после мое-

го приезда на зону и его первого «пэкэтэшного» срока. На Новый год — 1987-й — мы себе не только чаю заварили, но даже торт сделали (крошка ларечного печенья, маргарин, пыль какао с сахаром, ссыпавшаяся с дешевых карамелей, яблочное повидло. Чай же нам — пару хороших заварок! — опять-таки в укромном месте рабочей камеры оставил азербайджанец Алиев, бывший в то время в карантине после возвращения из Чистопольской тюрьмы (к сожалению, я так и не успел с ним хорошо познакомиться: вскоре после того, как я вышел из ПКТ на зону, посадили его). Ему же этот чай тоже достался в порядке экзковской взаимовыручки — кто-то на этапе сунул: человек, возвращающийся из к р ы т о й — самое уважаемое лицо в пестром этапном потоке — и в камере, и в «столыпине». Ему через весь вагон и чайку передадут — если не заваривать, так хоть пожевать, — и курева, и вообще, если нужда в чем-то есть — ну, скажем, тапочки нужны — найдут, подберут поудобнее и п о д г о н я т.

Вообще на нашей политической зоне никто не голодал еще и потому, что хорошо была поставлена взаимовыручка. И если менты упорно прессовали кого-то, и упорно, месяц за месяцем, лишали ларька и посылки, то так же упорно, месяц за месяцем, все остальные со своих ларечных покупок отделяли должную часть — и жил человек не нуждаясь. Душой этой взаимовыручки был католический священник о. Альфонсас Сваринскас — многолетний экз, тянувший уже свой третий срок (на этот раз за издание журнала «Комитета в защиту верующих» — семь лет лагерей и пять лет ссылки). Он внимательно следил, чтобы у каждого из нас была пачка маргарина, банка повидла, флакон подсолнечного масла, горсть дешевых конфет... В рамках предложенных обстоятельств никто не сидел одиноко, сложив руки и понутив голову — хоть и были все люди разных мировоззрений. Наша правота, наше сопротивление было еще и в том, что мы стремились выжить не каждый по отдельности, но все вместе. И в этом один поддерживал другого. И если была хоть малейшая возможность, никого не оставляли в одиночестве.

И когда кто-то погибал, в этом не было вины его лагерных товарищей. Туда, за край, уходили люди, удержать которых у нас просто не было возможности...

Может быть, мне и здесь повезло. Говорят, на других зонах было иначе. Говорят, политэзки были разъединены, а иногда и вовсе вражда разъедала зону... Не знаю. По отношению к нравственному климату 36-й политической зоны в те времена, когда я здесь сидел, в моих словах нет ни тени идеализации. Все так было, как я говорю.

Повторяю: за край уходили только те люди, удержать которых у нас просто не было возможности.

Начальнику Главного управления
исправительно-трудовых учреждений
МВД СССР
от Экслер Натальи Евгеньевны (адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, жена Тимофеева Льва Михайловича, находящегося в заключении в лагере 389/36, не имею никаких известий о нем с 9 сентября с.г. На телеграмму, посланную в лагерную медсанчасть, я не получила ответа.

Прошу помочь мне узнать, что с моим мужем.

Когда я раньше спрашивала начальника лагеря, почему не приходят письма, то он отвечал, что последнее письмо отправлено такого-то числа. Но когда отправлено последнее из дошедших писем, я и сама знаю. Меня тревожит, почему так долго нет писем. Они не доходят? Или мой муж не может писать?

Если не доходят, то почему?

По последнему письму за 9 сентября я поняла, что два не дошедших до этого письма (за август и сентябрь), были посвящены рассуждениям чисто литературным (мой муж — литератор и был занят изучением творчества Пушкина до ареста). Имеет

ли право заключенный делиться в письмах семье своими размышлениями о литературе? Если цензорам что-то не понятно в этих размышлениях, то причина ли это для конфискации писем?

Прошу Вашего содействия. Прошу разобраться, по каким причинам были задержаны письма (заказные). Может быть, с ними ознакомятся более грамотные цензоры, которым будут доступны размышления о Пушкине, которые способны понимать, что это действительно размышления о литературе, о законах творчества, что за ними нет никаких намеков и второго смысла.

И мне, и нашим детям очень важно знать, имеет ли мой муж хоть малую возможность продолжать свои занятия литературой и посвящать нас в свои литературные интересы.

Это о конфискованных письмах. Но я тревожусь, что мой муж вообще лишен возможности писать письма и подвергается в лагере притеснениям. И не только отсутствие писем это подтверждает.

По произволу лагерного начальства нас лишили положенного в этом году личного свидания. Начальник лагеря Долматов сказал, что он не помнит, за что именно лишен свидания мой муж, и отказался говорить на эту тему. Опер. Журавков заявил мне, что мой муж грубит, не выполняет норму и нарушает режим. И все оказалось ложью. На общем свидании мой муж рассказал, что до того, как он подал заявление о личном свидании, у него не было ни одного замечания, но сразу после заявления начались мелкие придирки (вышел вне строя — замечание, раньше почему-то не замечали, надел не тот лагерный бушлат — замечание — раньше ходил так же, но не обращали внимания). Разве это не показывает бесчеловечного стремления лагерного начальства под любым предлогом не дать свидания и этим унижить, оскорбить надеющегося узника... И в этом вопросе я еще раз прошу Вашей помощи и контроля. Я прошу положенного личного свидания.

Почему по произволу лагерного начальства наши дети лишаются возможности хоть три дня в году побыть вместе с отцом? А не только три часа смотреть на него через стекло.

И еще. Насколько мне известно, при каждом лагере существует помещение гостиничного типа, где могут останавливаться родные, приехавшие на свидание. Я попросила поместить меня с детьми в такую комнату. Начальник лагеря отказал. И только после моего обещания ночевать с детьми на улице нас поместили в нежилую, грязную, промозглую комнату. При этом опер. Журавков заявил, что если бы не дети, то меня-то они уж точно оставили бы на улице. Если мы родные человека, осужденного за свои убеждения, то дает ли это право на бесчеловечное обращение с нами? У них служба, но и служить можно с достоинством, не опускаясь до лжи и хамства. Если эти люди не отказывают себе в удовольствии поиздеваться над женщиной с детьми, то какие же у них возможности для жестоких издевательств над людьми, которые находятся под их неограниченной властью?

Может быть, все-таки в Ваших силах помочь нам всем?

Подпись.

13 ноября 1986 года

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Когда после суда меня привезли в лагерь, Михаил Денисович Фурасов был уже очень болен, и все понимали, что болен он безнадежно: он горстями ел снег, чтобы хоть как-то избавиться от вкуса мочи, который он постоянно ощущал во рту, — почки уже вообще отказывались работать.

Это был очень тихий, очень вежливый человек. Интеллигент, кандидат технических наук... Эзки, которые любят обмениваться для чтения своими приговорами и знают все о судебных делах каждого, установили специальный приз — пачку чая — тому, кто скажет, за что сидит Фурасов. Это была тайна. Его дела никто не знал. Была у него статья 70 (в ее украинской версии), но говорить о подробностях он не хотел: «Я давно признал свою вину. Теперь надо выжить и выйти отсюда».

Выжить в лагере люди пытаются по-разному. Можно в «седьмом кабинете», в кабинете уполномоченного КГБ, этого хозяина зоны, распорядителя наших судеб — можно в этом кабинете дать понять, что ты готов к долгим содержательным беседам. Это, конечно, за зону не выведет, но освободит от мелких придинок, и бандерольку в срок получишь, а придет время — и посылку, да и свидания — не лишат, как строптивых лишают, а дадут длительное, «личное», на положенные трое суток, да еще могут и дополнительное, льготное разрешить — опять трое суток с семьей... Да и работу дадут полегче, а то и вовсе художником или даже нарядчиком поставят...

Нет, Михаил Денисович хоть и был до робости тихим эзком, но — никакими льготами не пользовался. Напротив, трудно сказать, за что, но его спокойно и верно у б и в а л и на глазах у всей зоны. И ни для кого это не было тайной, и только сам Фурасов как бы не хотел этого видеть и сердился, когда ему предлагали организовать коллективную поддержку — писать в его пользу или объявить голодовку. Он боялся озлобить ментов. Он боялся их злобы.

И действительно, менты, кажется, и не злились на него...

Когда-то, года за полтора до меня, он приехал на зону здоровым человеком. Делал зарядку, бегал по утрам по небольшой лужайке возле медчасти, обтирался холодной водой. Но зимой простудился — то ли выгнали его в ботинках мокрый снег убирать, то ли заставили шлак на холодном ветру грузить, и его, распарившегося от работы, и прохватило — как именно простудился, он и сам не помнил. Простуда дала осложнение на почки. Врач посмотрел, дал какие-то таблетки, но от работы не освободил, хоть от таблеток лучше и не стало.

Прошло месяцев пять, если не больше, прежде чем его повезли в больницу или, как здесь говорят, «на больничку». Там — когда иного завсегдатая «седьмого кабинета» держат в больнице и по месяцу, и по полтора, отпуск ему устраивают, отдых — Фурсова продерждали всего две недели, лечить не лечили, но анализы сделали. Врач посмотрел анализы, сказал: «Теперь мы знаем, что с вами», — но опять — как-то странно — лечить не стали, а отправили назад, в зону.

Вот и все. Лечение закончилось, не начавшись. Давали, как и прежде, какие-то таблетки, но толку от них не было. Казалось, что лагерное начальство, а из-за их спин и врач, со спокойным любопытством смотрят, как развивается болезнь и как движется человек к краю. Двигается и движется, и они его туда подталкивают и подталкивают полегоньку...

Фурасов работал не то чтобы на трудной, но на достаточно нудной операции: за маленьким станочком нарезал он мечиком еле видимую резьбу в крошечном латунном контакте — зона делала детали для электроутюгов, которые собирали где-то на другой зоне.

В цеху гуляли сквозняки. Фурасов сидел целый день, сторбившись за своим станочком, укрывши больные почки бушлатом. Из-за станка не встань, не отдохни — сразу замечание, а то и наказание — или ларька лишают, или заставят вне очереди снег на жилой зоне убирать после работы.

Уставал Денисич сильно, к концу рабочего дня опухали ноги, но даже и в свободное время хоть бы прилечь на койку — нельзя, запрещено. Вечерами в бараке за большим столом, где люди читали или играли в шахматы, он сидел рядом с нами, положив голову на руки и тяжело забываясь. Так он ждал отбоя, после которого можно было, наконец, лечь по-настоящему.

Но ночью Фурасов спать не мог. Он постоянно просыпался. Мучили почки, мучила мигрень, мучил отвратительный застоявшийся вкус во рту — хотелось полоскать рот чистой водой, хотелось пить чистый растопленный снег — и он вставал, бродил по барaku, заходили дежурные менты (и по ночам нет покоя!) — громко топая, светя фонариком на лица спящих, — и Фурасов выслушивал их змеинные, свистящим шепотом замечания.

Болезнь развила в нем обостренное «чувство пользы». Весной он первый находил на зоне пучок свежей крапивы и, ошпарив кипятком, съедал его. В ларьке из наших жалких зэковских восьми рублей, положенных на все про все (хотя ему, кажется, регулярно разрешали потратить еще пятерку — «производственные» за выполнение нормы и за безупречное поведение

— словно знали, что это не остановит его движения к краю) — из этих жалких денег он каждый раз выкраивал что-то на свежее (на самое деле всегда полугнилые, бросовые) овощи — редьку или лук. (Нужды нет что их-то как раз почечному больному и нельзя — где уж там! — другого-то свежего нет ничего, а хочется.)

Иногда вдруг он задавал вслух вопросы, которые диктовал ему не разум, но диктовала его болезнь: «Почему они не заовьют в ларек молочные продукты?»

Он надеялся выжить и выйти отсюда. Он был совершенно одинок, и, хотя ему было уже пятьдесят, он рассказывал, что решил было жениться, но вот помешал арест. Но он еще надеялся. Он говорил мне, что скоро он выздоровеет и снова начнет делать зарядку и обтираться холодной водой. Он спрашивал у меня, сколько может стоять домик — пусть какая-нибудь развалюха — в сельской местности. Кажется, из своего почти символического заработка (и того половину «законно» забирает «хозяин» — начальник зоны) — из этой малости он ежемесячно откладывал что-то пятнадцать ли, двадцать ли рублей — на будущий дом. Он надеялся купить развалюху и дать ей ремонт... Сидеть ему было еще пять лет, и он надеялся.

Добило его, кажется, общее для всех ежегодное распоряжение о переходе на летнюю форму одежды: с началом лета бушлаты носить запрещалось. Наступал июнь, начальству — сытым, здоровым — показалось, что уже достаточно тепло, и последовал приказ: телогрейки снять... Как-то завернул северный ветер, пошел дождь — но приказ есть приказ: кто вышел в бушлатиках-телогреечках — тех от ворот промзоны назад, да еще и со взысканием за получившееся опоздание да заслушание. Так и с Фурасова в этот ветер и дождь сорвали бушлатик. И еще его к краю подтолкнули, теперь уж совсем близко...

Недели через две, что ли, я проснулся ночью оттого, что кто-то в секции сильно храпел. Вообще-то в лагере храпунов хватает — люди все немолодые и больные. Я, к слову, долго спал рядом с человеком, который громко — громче, чем храп — скрипел зубами. Скрипел на всю секцию, где спали тридцать человек, — и я к нему всех ближе спал — и ничего, привык. Но тут

был такой храп, что я проснулся. Храпел Фурасов. К нему уже склонился его сосед: «Он не храпит — хрипит без сознания...» Побежали за дежурным, послали за врачом.

Врач пришел, да хоть он и будет на зоне — к больному в секцию не придет, хоть пусть умирает человек — несите в медсанчасть.

В ночных сумерках, почему-то не зажигая света, двигались темные тени над хрипящим Фурасовым. Положили на носилки. Понесли. Исчезли.

Утром увезли его «на больничку». А на следующий день он умер.

О смерти Фурасова начальство прямо не сообщило. Но когда через день кто-то спросил по-хитрому, не умер ли Фурасов, дежурный чин окрысился: «Ну и что, что умер, — и на воле люди умирают». Так люди узнали, что Михаил Денисович до своего домика не дожил.

В день, когда Фурасова еще только увезли в больницу, меня как раз посадили в карцер — не помню уж точно, как было сказано, за что — кажется, за голодовку, которую мы объявили, протестуя против сдрючивания бушлатов с окоченевших эзков.

Вышел я из карцера больной и пошел на прием к лагерному врачу — к длинному, довольно спокойному баскетбольно-спортивного вида парню лет тридцати пяти — пошел не только за таблетками, но еще и в надежде узнать, как умирал Фурасов, каков окончательный диагноз.

Врач — словно чувствовал вину — даже разговорился, против ожидания свободно. «Он ведь был почечный, а почечные дела не предсказать. Я на «скорой» работал, знаю». Оттого он и разговорился, что ему надо было распространить, вбить нам в сознание определенный взгляд на смерть Фурасова.

Я слушал и помнил, что этот вот долговязый не давал уже слабейшему человеку освобождения от работы — до последнего дня не давал! — и еще за три дня до смерти заявил, что Фурасов «практически здоров» — так Денисыч и захрипел в ночь после обычного рабочего дня. «За станком умер», — говорили эки... И вот сидел я рядом с этой тусклостью и опять чувствовал не ненависть, а тоску. «Мы ведь тоже тут мало можем», —

так он говорил, и я думал, что вот сидит врач — какую-то там клятву Гиппократы они что ли дают — да не в клятве дело! — ведь вот когда-то хотел лечить людей, на «скорой» работал, спас, должно быть, не одного... и вот пошел сюда работать, не лечить — но если уж и не убивать прямо, то, по крайней мере, смотреть равнодушно, как одни равномерно, спокойно, не торопясь, подталкивают человека к смерти, а другие руководят этим подталкиванием, и стал тоже подталкивать («мы ведь тоже тут мало можем») — и вот нет Фурасова.

За что? Что он такое сделал? Что мы все такое сделали?

Я сидел и слушал его, и у меня даже желания не появилось сказать ему что-то резкое. Тоска! Но вот мой товарищ Борис Черных — тот не выдержал — в рожу ему закричал: «Убийца!» И отправили Черных в карцер, хоть и сам он в то время грипповал и был в жару, — не сразу, к вечеру пришли в секцию, вынули из постели больного, насильно одели, выволокли. Это было уже совсем рядом. Это уж и меня возмутило — и меня туда же, в карцер, больного с температурой, — чтобы не возмущался.

Смерть Фурасова, двое больных в карцере — зона была возбуждена: «Менты обнаглели!» На следующий день пятнадцать человек не вышли на работу — забастовали... Начальство ответило по-своему: распахали людей по карцерам, приехали еще и начальники сверху — чуть не бунт на зоне! — всех выслушали, всем поугрожали, но и покивали головами, пообещали разобраться, расследовать — и ничего. Глухо. Как было все, так и осталось.

После всех карцерных передраг вышел я на зону уже в январе. Пошел было работать на знакомое кочегарское место. Но почувствовал, что не могу, что еле доволакиваю смену. Сердце, что ли, от полугода малой подвижности сдавать стало? А кому пожалуешься? Врач выслушал — иди, здоров!.. И вот тут-то я и подумал, не меня ли будут теперь спокойно и неторопливо подталкивать к тому краю, за которым исчез Фурасов? А пока меня не было на зоне, исчез за этим краем и старик Бутлерс — тоже до последнего дня работал. И еще один не-

счастный — язвенник Пушкарь, взаправдашний северокорейский шпион...

Не моя ли очередь?

Сидеть-то мне еще четыре года с лишком, не считая ссылки.

Уже много позже я не то чтобы узнал, но слух был, за что именно сидел Фурасов: он будто бы искал неизвестные факты биографии Брежнева. И находил. И что же это за факты были такие? Видать, страшным делом занимался тихий Михаил Денисович! Не оттого ли его так быстро и свалили за край?

Учреждение ВС-389

618801 п. Половинка, Чусовского района

Пермской области

10/12-86 г.

№ 44/5-Э-2

Москва (адрес)

Гр-ке Эклер Н.Е.

Ваше заявление, адресованное начальнику ГУИТУ МВД СССР и поступившее в наш адрес, рассмотрено. Вся переписка Вашего мужа Тимофеева Л.М. ведется согласно § 31 п. 5 Правил внутреннего распорядка ИТУ, все его письма и письма родственников, прошедшие цензуру, вручаются и направляются адресатам. Во всех случаях о конфискации писем составляются акты, о чем он уведомляется.

На Вашу телеграмму в адрес медсанчасти учреждения Вам дан ответ за № исх. 9-Т от 10.11.86 г. (квитанция № 25 от 13.11.86).

Осужденный Тимофеев Л.М. очередного свидания за 1986 г. лишен обоснованно 30.04.86 г. за неподчинение требованиям дежурного наряда.

Комната для приезжих при учреждении ВС-389/36 имеется.

Начальник учреждения

Н.В.Хорьков

вх. Э-2

В ЦК КПСС,
Генеральному прокурору СССР
тов. Рекункову
от секретаря правления Союза писателей СССР,
лауреата Гос.премии СССР
поэта Евтушенко Е.А.

Уважаемые товарищи!

Ко мне обратилась жена журналиста Тимофеева Льва Михайловича, находящегося в заключении в 36-м пермском лагере. Одной из причин его ареста была его книга по экономике, где Тимофеев ставил многие острые вопросы черного рынка, дефицита, коррупции, экономической несуразицы — словом, все те явления, которые раньше замалчивались, а ныне находятся в центре внимания наших ведущих газет, открыто подвергаются острейшей критике — порой ничуть не менее остро, чем это делал Лев Тимофеев. Перестройка должна включать в себя и пересмотр подобного рода дел. Тимофеев работал ранее в таких ведущих журналах, как «Молодой коммунист», «В мире книг», широко печатался в «Юности», в «Новом мире», в «Дружбе народов», и, надеюсь, его перо еще могло бы послужить на пользу нашему обществу.

Помимо этих соображений есть соображения гуманные. Здоровье Тимофеева подорвано, он страдает хроническим заболеванием печени, а лагерь — не лучшее место для выздоровления. Тимофеев — отец двух детей, и это тоже надо учесть. Наконец, надо учесть и то, что у меня и других писателей, выезжающих за рубеж, не без ядовитой иронии все время спрашивают: «Разве можно верить вашей перестройке, если Тимофеев, ставивший о ней вопрос одним из первых, все еще находится в заключении?» Пребывание Тимофеева в лагере мешает нашей борьбе за мир, контактам с западной интеллигенцией, без участия которой такая борьба невозможна.

Учитывая все эти обстоятельства, прошу Вас пересмотреть дело Тимофеева и освободить его.

Евг. Евтушенко.

В ЦК КПСС,
Генеральному прокурору СССР
тов. Рекункову
от Экслер Натальи Евгеньевны
(адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, жена Тимофеева Льва Михайловича, осужденного Московским горсудом 19 сентября 1985 г. по статье 70 УК РСФСР на 6 лет лагеря и 5 лет ссылки, прошу пересмотреть дело моего мужа.

Задолго до того, как была объявлена гласность как новый стиль жизни страны, Тимофеев Л.М., не дожидаясь официального разрешения на эту гласность, разрешения на обдумывание, исследование, да просто — на крик возмущения, отчаяния, недоумения от всего, что происходило в стране, попытался исследовать в своих работах те факты и проблемы, которые в то время тщательно замалчивались, словно их и не было (они были и есть — об этих же проблемах говорят и пишут сейчас широко).

С его работами можно было соглашаться или не соглашаться, коль скоро их читали и они оказались опубликованными без ведома автора, но его осудили за эти работы как уголовного преступника.

Он писал, когда лишь крупницы правды просачивались в печать. Одни правду не пропускали, другие правду говорить боялись.

Сейчас так и пишут «боялись», и это никого не удивляет, в этом не видят ничего зазорного — все знают — было опасно.

Работы Тимофеева, написанные в то время, это свидетельство его гражданского мужества, его боли и тревоги за страну.

Он не побоялся — написал.

Его арестовали 19 марта 1985 года. Он не принял участия в следствии и отказался присутствовать на суде, так как совершенно убежден, что литературные произведения нельзя судить уголовным судом.

В любое время, в гласное или безгласное, но публицистика не может считаться уголовным преступлением.

Я прошу реабилитировать Тимофеева Л.М.

Сейчас он находится в 36-м Пермском лагере, я знаю, что условия его жизни специально ужесточаются, он постоянно преследуется и подвергается наказаниям. Ему 50 лет, он не отличается отменным здоровьем, и я боюсь трагического исхода. Процент смертности в этом лагере невероятно высок: как мне стало известно, из 75 заключенных за два с половиной года там умерло 10 человек.

При рассмотрении дела прошу принять во внимание заявление трех свидетелей: Г-ва, Л-й и мое...

То, что я, жена Тимофеева Л.М., выведена как свидетель обвинения, названа первым из свидетелей, якобы подтверждающих вину Тимофеева, меня очень встревожило.

Еще за месяц до ареста мужа я заболела (тяжелое осложнение после гриппа — бессоница, галлюцинации), я признавала свою болезнь и обратилась за помощью к психиатру — кандидату мед. наук Т-му (адрес). Он назначил лечение, но арест моего мужа (через месяц) был непосильным потрясением, и я перестала осознавать свою болезнь — бред и галлюцинации стали для меня реальностью.

Психиатр Т-й советовал моей матери, не откладывая, положить меня в психиатрическую больницу. Необходимость этого признавали все друзья и знакомые, но всех останавливало то, что нашим детям, девочкам 4 и 11 лет, было бы невыносимо тяжело вслед за исчезновением отца пережить исчезновение матери.

Но госпитализация была необходима, и, с явным опозданием, меня все же увезли, и я пролежала в психиатрической больнице № 14 с 20 февраля по 26 апреля 1986 года. Мне дали инвалидность третьей группы.

Теперь я могу сказать, что все происходившее на следствии и суде вплеталось в бредовые видения и представлялось нереальным.

То, что следователь КГБ Круглов С.Б. не захотел заметить моей явной болезни, — это, должно быть, не удивительно. Но

адвокат Власова К.В. тоже знала о моей болезни, говорила моей маме, что меня надо лечить, сама же на суде была пассивна — это можно объяснить только тем, что адвокат была назначена следствием.

В своей болезни я даже не могла осознать необходимость адвоката, не то что искать его.

Вот почему меня встревожило, что я выведена в ответе Прокуратуры как свидетель обвинения...

Теперь, находясь в здравом уме, я должна сказать, что я действительно читала работы мужа, но мне кажется, что одного этого еще недостаточно для того, чтобы являться свидетелем обвинения, ибо мой муж подписывал свои работы и не скрывал своей фамилии.

Прошу пересмотреть дело Тимофеева Л.М.

Подпись.

Герб СССР

Прокуратура СССР

Отдел по надзору за следствием
в органах государственной безопасности.

103793 Москва К-9, Пушкинская 15-а

09.02.87

№ 13/29-85

Москва (адрес)
гр-ке Эхслер Н.Е.

На Ваше заявление, адресованное в Прокуратуру СССР, сообщая, что Ваш муж — Тимофеев Лев Михайлович, осужденный по ст. 70 ч. I УК РСФСР, на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1987 года помилован и освобожден от дальнейшего наказания.

Прокурор отдела
советник юстиции
И.К. Титов

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В ГАЗЕТУ «ИЗВЕСТИЯ», ОРГАН ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

13 февраля 1987 года

В последние дни средства информации Запада сообщают об освобождении в нашей стране ряда политических заключенных. Но отрадное известие это содержит подробности, которые вызывают недоумение, а порой похожи и на прямую дезинформацию. Как освободили? Отвечают: Указами Президиума Верховного Совета от 2 и 9 февраля. О чем Указы? О помиловании. Причем, неоднократно и настоятельно повторяется — кому-то нужно это повторять! — что заключенные писали прошение о помиловании — и что их помиловали. То есть перековались политэки, раскаялись, запросили пощады.

Не могу сказать за всех освобожденных, но что до меня, то здесь прямое недоразумение. Я не только никого никогда не просил о помиловании (т.е. о прощении вины), но и самой-то вины за собой не знаю и не знал никогда прежде — и об этом заявлял неоднократно с момента ареста.

Нет, политзаключенному не все равно, как и при каких обстоятельствах его освобождают. Кому заключение страшнее всего, тот вообще не станет публично заявлять свои убеждения. За это — лагерь, тюрьма. Многие и молчали. И молчат. А и в лагере-то сидели по 70-й, печально известной статье в большинстве своем те, кто не стал молчать — совесть не позволяла. Чего бы теперь-то свобода так уж вздорожала, что дороже совести?

Будучи арестован два года назад за свои литературные работы (и только за литературные работы), я был приговорен к 11 годам лишения свободы — 6 лет лагерей и 5 ссылки. Поскольку само обвинение и следствие, и суд — все было основано на лжи и беззаконии, я отказался отвечать следователю, отказался не только участвовать в суде, но и присутствовать в зале суда. Видимо, за это (а к разным разным отношение) в лагере меня ждал особенно жестокий режим: в первый же год — почти шесть месяцев карцера и особо строгого камерного содержания во внут-

рилагерной тюрьме. По логике событий, накатанной десятками судебных, надо было готовиться к переводу в тюрьму, а подальше будущее было и вовсе туманно... Что же, к любому надо быть готовым, как готовы были те, кто прошел здесь раньше и кто навсегда остался на тюремных и лагерных кладбищах — только за последние два года с небольшим только на одной нашей 36-й зоне умерли 12 человек — это там, где всего-то не более 70 заключенных!

И вдруг все решительно меняется. В конце января в пермском лагере № 36, где я отбывал срок, появился прокурорский чиновник, который от имени Президиума Верховного Совета заявил мне (и других по одному вызывал и говорил), что через две-три недели я буду освобожден и буду дома. Без прощения о помиловании. Без признания своей вины. Прямо так вот и сказал: две-три недели... Неслыханно!

Я — литератор, публицист — был арестован за свои убеждения. И нынешнее освобождение без признания мной вины есть фактическое признание права на те убеждения, за которые прежде сажали. А как еще понять?

Вообще-то говоря, и мне, и многим моим товарищам по зоне прежняя логика развития лагерных событий, ужесточение режима казались в противоречии с логикой событий в стране за последние полтора года. Слово о близком освобождении воспринялось как еще один шаг к наметившемуся просветлению общественного климата...

Что говорить, я рад освобождению. Не только потому, что снова с детьми и женой. Я рад освобождению (а знаю, что и многие другие мои товарищи по зоне тому же рады) потому, что это может и должно означать отказ от политики жесткого подавления сверху всякой не только что критической, но и просто аналитической мысли — отказ от политики, так тяжело угнетавшей творческие возможности нашего общества. Я рад освобождению, поскольку надеюсь, что для нас, для советского общества в целом, наступает время социального мира и творческого сотрудничества, к которому приглашаются все наличные общественные силы — сотрудничества на основе уважения мнения каждого и самого разнообразия мнений.

Я — гражданин своей страны. Я — часть общества. Я наравне со всеми разделяю ответственность и не уступлю эту ответственность за судьбу страны никому и ни при каком условии. Но я готов к широкому сотрудничеству. Вот почему я рад освобождению. Вот почему рады освобождению многие из тех, кто вышел на свободу одновременно со мной.

Вот почему я пошел навстречу просьбе того благовестившего чиновника и написал заявление в Президиум Верховного Совета: «Прошу освободить меня от назначенного мне срока заключения. Не имею намерения наносить ущерб советскому государству, как впрочем, не имел такого намерения никогда прежде».

Я пошел навстречу социальному миру и сотрудничеству. Пошел, сохраняя свои убеждения. Пошел, потому что знаю, что разнообразие убеждений и мнений и прежде было нужно обществу и теперь не менее необходимо...

И вот теперь кому-то хочется, кому-то выгодно распространять унижительный и, может быть, даже провокационный слух, что все не так. Что-де не об уважении к моим (и других освободившихся) убеждениям говорит Указ Президиума Верховного Совета, а лишь о политическом маневре властей, о маневре пешками в шахматной партии с Западом. И я (как и другие мои солагерники) не из уважения к новой политике сотрудничества потянулся навстречу, а из рабского смирения, из страха, из низкого чувства самосохранения. Да кто же поверил этому? Кто же подхватил?

И вот теперь в Указах — речь о помиловании. О прощении... Какую мою вину прощают? Не ту ли, что задолго до нынешних громких речей я проанализировал механизм «теневых» товарных отношений в стране, «технологии черного рынка»? Не ту ли, что до объявления гласности я заявил, что именно в открытом обсуждении общественных проблем — последняя надежда выжить?

Я никогда не был радикалом. Насилие политическое, идеологическое, любое иное — мне отвратительно.

Я говорю об этом не потому, что вот я оскорблен лично и требую удовлетворения. Нет. От меня не требовали отказа от

моих убеждений, и я, сознавая, что живу в государстве чиновников, в конечном счете готов примириться и с той чиновничьей лексикой, которая использована в Указе, — может, там пока и слова-то нет иного, кроме как «помиловать» — пусть!

Нет, оскорбительно не это и не это заставило меня писать. Оскорбительно, что освобождены не все политические заключенные. Многие — самые чуткие, самые душевно ранимые, — предчувствуя вероятность провокации, отказались писать что бы то ни было даже в самой компромиссной форме. Они остались в тюрьмах. Они справедливо ждали от Президиума Верховного Совета последовательного и полного уважения, уважения без условий. И пока не дождались. В московской Лефортовской тюрьме — Алексей Смирнов, Валентин Новосельцев, Валерий Сендеров... В минской или гродненской — Михаил Кукобака... В тбилисском изоляторе — Вахтанг Дзабирадзе, Гурам Гогбаидзе. В Вильнюсе — Альфонсас Сваринскас... В Чистополе — Иосиф Бегун... А сколько всего по стране? Унизительно то, что даже и этого мы не знаем точно.

Во многих случаях пока и вообще нет речи об освобождении. Так, не ясна судьба «полосатых» (по каторжной одежде) узников особого режима 36-го пермского лагеря, где среди иных находится писатель Леонид Бородин. Не ясна судьба организатора христианского просветительского семинара Александра Огородникова, отбывающего возле Хабаровска в уголовном лагере свой (третий подряд, без выхода хоть на день на свободу) многолетний срок. Не ясна судьба преподавателя иврита Юлиана Эдельштейна, заключенного в уголовный же лагерь по ложному обвинению.

Вот почему я обращаюсь через «Известия» к Президиуму Верховного Совета. Пока не освобождены безусловно все политические заключенные, немало остается оснований у тех, кто хочет воспринимать и наше освобождение лишь как маневр. Да и нам остается сомневаться: а не правы ли они?

Уважение государства к свободе убеждений может быть только полным — и тогда уважение будет взаимным. Сотрудничество может быть только искренним — и только тогда оно плодотворно.

Я готов к сотрудничеству. Я ишу социального мира. Я жду освобождения тех, кто пошел на страдания ради своих убеждений. Этого ждут многие и у нас в стране, и в мире.

Бывший политзаключенный
Лев Тимофеев, литератор

Вынужденный P. S.

Через несколько дней после того, как это письмо было написано и отправлено, стало ясно, откуда пошли унижительные слухи. Начальник управления информации МИД СССР Г.Герасимов на брифингах начала и середины февраля упорно вбивал в головы зааданным журналистам, что освобождение политзаключенных произошло в ответ на их «прошения о помиловании», в ответ на «отказ от противоправной деятельности». И ведь, кажется, ему хорошо удалось убедить корреспондентов, что вот примирились диссиденты, потому их и отпустили. Опасная ложь! Ложь, которую, видимо, запускают те, кому и мысль о социальном мире и сотрудничестве нестерпима.

Заявляю вполне определенно: наше освобождение есть факт торжества как раз тех самых идей, за которые люди сознательно шли в тюрьмы и в лагеря. Именно тех идей! Представить же это, напротив, как подавление, как нравственное поражение инакомыслия хотят те, кто сажал нас и два, и пять, и пятнадцать лет назад. Они и теперь мыслят репрессивными категориями. Насколько же они определяют политику, покажет ближайшее будущее.

20 февраля 1987 года
гор. Москва

Лев Тимофеев

В Президиум Верховного Совета СССР
от Тимофеева Льва Михайловича, литератора
прож. г. Москва (адрес).

ЗАЯВЛЕНИЕ

о необходимости пересмотра уголовного дела и реабилитации

Меня арестовали 19 марта 1985 года — как автора нескольких литературных произведений. Следствие продолжалось полгода, хотя, право же, непонятно, что там было так долго расследовать: я не отрицал, что я автор тех работ, о которых шла речь, — на них стояло мое полное имя и моя фамилия — иного же мне и не инкриминировали. Наконец через полгода работы следственная группа (шесть человек следователей!) составила обвинительное заключение, и дело было передано в суд. Я, понятно, все это время провел в тюрьме.

Не будучи виновен в каком бы то ни было уголовном преступлении, я с самого начала отказался участвовать в следствии, написав соответствующее заявление. Отказался я участвовать и в судебных заседаниях: и обвинительное заключение, основанное на лжи и беззаконии, и закрытое судебное разбирательство, куда не были допущены ни мои друзья, ни мои родственники, ясно показывали, что о соблюдении закона ни следствие, ни суд не думают.

Тем не менее, суд, конечно, состоялся и без моего участия, и я был приговорен к 6 годам лагерей строгого режима и к 5 годам последующей ссылки.

Теперь, когда по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1987 г. № 6462-11 я освобожден от дальнейшего пребывания в заключении, пришло время поставить вопрос о том, был ли я виновен, в принципе.

В приговоре суда сказано: «На протяжении 1977-1984 годов Тимофеев в целях подрыва и ослабления советской власти проводил антисоветскую агитацию путем изготовления в Москве клеветнических, порочащих советский государственный и общественный строй, письменных материалов, которые направ-

лял за границу для использования антисоветскими подрывными центрами в проведении враждебной пропаганды против СССР».

Разберемся, так ли это — просмотрим обоснование обвинения и приговора довод за доводом.

1. В приговоре читаем следующее: «Тимофеев написал с целью распространения антисоветский материал под названием "Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать", в котором содержатся заведомо ложные измышления, порочащие советскую политическую и экономическую систему, а также содержатся клеветнические измышления в отношении положения колхозников и рабочих». В обвинительном заключении та же самая мысль, но более детально: «В 1977-80 годах Тимофеев написал в целях распространения антисоветское произведение под названием "Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать", в котором заведомо ложно утверждал, будто "советская система — диктатура страха", якобы, осуществляющая "политику крепостного закабаления крестьянства" и "эксплуатацию трудящегося человека"».

По сути предъявленного обвинения я должен заявить следующее.

Повесть-очерк «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» документально-беллетристическое произведение объемом около шести условных печатных листов (130-140 стр. на машинке). Работа эта посвящена анализу экономического феномена приусадебного хозяйства в его самом широком экономическом, политическом, социальном, юридическом и нравственном аспектах. В работе на широком экономическом, статистическом и социологическом материале, целиком взятом из советских опубликованных источников (и только из этих источников!) и подкрепленном собственным моим опытом, — а я годы прожил в деревне, — так вот, на этом материале в работе убедительно доказано, что существующая у нас в стране планово-распределительная экономическая система не может не только нормально функционировать, но и

вообще существовать без поддержки широкого, рыночного по сути своей, «личного подсобного хозяйства рабочих и служащих», без приусадебного хозяйства колхозников. В работе приводились широко известные цифры и утверждалось, в частности, следующее:

«При первом знакомстве цифры потрясают: на приусадебных участках, по разным подсчетам занимающим лишь два с половиной или даже полтора процента всех посевных площадей страны, в крестьянских хозяйствах, обладающих лишь одной десятой всех производственных фондов сельского хозяйства, производится треть всего сельскохозяйственного продукта. Таковы данные официальной статистики. (См. Г.И.Шмелев. Личное подсобное хозяйство и его связи с общественным производством. М., 1971, стр. 11).» Это ли клевета?

Необходимость работы в приусадебном хозяйстве — экономическая. Возникает она как результат определенной распределительной политики, о чем в моей работе сказано буквально следующее:

«Впрочем, предоставим слово специалистам, которые, решая задачи конкретной экономики, волей-неволей вынуждены если и не до конца распутывать клубок, то, по крайней мере, потянуть нитку дальше, чем обычно принято: «Расчеты, выполненные на базе учета затрат труда в отраслях материального производства и редукции труда на основе различий в общественно-необходимых затратах труда на подготовку рабочей силы разной квалификации, показывают, что в сельском хозяйстве в 1969 году было произведено 29,4%, а в 1970 году — 28% национального дохода страны... Вместе с тем, доля сельского хозяйства в национальном доходе, рассчитанная нами, выше, чем учтенная текущими ценами по действующей методике ЦСУ СССР. Последняя составила в 1960 году 19,5% и в 1970 году — 21,8%. (А.П. Плотников. Отношения сельского хозяйства с перерабатывающей промышленностью и торговлей. М., 1973, стр. 51.)

То есть, по меньшей мере, стоимости, оцениваемые в 30 миллиардов рублей, отнимаются у сельского хозяйства безвоз-

мездно. Часть из них в демагогической обертке возвращается, но далеко не сполна и далеко не по тем адресам, какие называли бы заинтересованные потребители товаров, испытывающие нехватку мяса, молочных продуктов, овощей, яиц. Так в течение многих лет животноводство получало столь мизерный возврат произведенных здесь стоимостей, что их едва хватило даже на простое воспроизводство. В результате и сегодня в стране катастрофическая нехватка мяса, от которой в первую очередь страдают рабочие промышленных предприятий, пролетариат, чьи интересы якобы положены в основу государственной политики.

Но если животноводство недополучает причитающуюся ему по законам товарного производства долю продукта, то недополучают ее и крестьяне, занятые в колхозном животноводстве. Система норм и расценок так устроена, что значительная часть общественно-необходимого труда остается неоплаченной.

Можно примерно подсчитать долю необходимого продукта, которая отнимается у крестьянина безвозмездно: подсчитанная разными способами, она составляет от 40 до 60% стоимости воспроизводства рабочей силы со средним уровнем квалификации. А это значит, что от 60% до 40% необходимого продукта крестьянин должен добирать в своем приусадебном хозяйстве».

Здесь-то что именно клевета? Все до слова — истина!

Социально-экономический феномен приусадебного хозяйства в значительной степени раскрывает суть всей советской социально-экономической системы:

«Просто удивительно, насколько легко разрешимы любые хозяйственные проблемы у нас в стране. Многим кажется — и это мнение поддерживается официально, — что нужны годы и годы, чтобы "поднять" сельское хозяйство, нужны крупные капиталовложения, техника, кадры, Днепрогэс нужно было возвести, теперь Камаз нужно построить, БАМ проложить.

Да ничуть не похоже! Все эти сложности накручены лишь для того, чтобы скрыть правду: достаточно освободить колхозы и совхозы от жестоких административных ограничений и

запретов, стесняющих хозяйственные маневры, и тогда крестьянин сам «поднимет» и сельское хозяйство страны, и свою собственную жизнь, да и все днепрогэсы, камазы и бамы и построятся скорей, и с большей отдачей заработают...

Несколько лет назад в стране исчез репчатый лук. Совхозы и колхозы не могли покрыть дефицит. И тогда в некоторых южных областях колхозам разрешили сдавать поля в сезонную аренду приезжим из Казахстана корейцам, мастерам возделывать лук. И что же? Урожай и сборы лука возросли в несколько раз в первый же сезон. Как просто!..»

Здесь не только нет клеветы, но все, что сказано выше, стало сегодня, спустя почти десять лет с того дня, когда эти слова написаны, — стало сегодня для всех очевидно, и М.Горбачев с трибуны съезда пропагандирует и сезонную аренду, и бригадный, и семейный подряд, и порой можно подумать, что он во многих случаях прямо цитирует мою работу... За что же я был арестован? За что же я был приговорен? Уж не за то ли, что позволил себе подумать немного живее, чем было официально принято в конце 70-х годов?

Вывранные из контекста моей работы и процитированные в обвинительном заключении слова о «диктатуре страха» заставляют меня теперь привести обширную цитату. Посмотрим, как это выглядит в тексте работы:

«Безответственность, кажется, стала основной чертой хозяйственной политики правящего класса. Она зияет даже в таком важном документе, как Программа партии, где обещано было: "В ближайшее десятилетие (1961-1970) Советский Союз, создавая материально-техническую базу коммунизма, превзойдет по производству продукции на душу населения наиболее мощную и богатую страну капитализма — США, значительно поднимется материальное благосостояние и культурно-технический уровень трудящихся, всем будет обеспечен материальный достаток, все колхозы и совхозы превратятся в высокопроизводительные и высокодоходные хозяйства, в основном будут удовлетворены потребности советских людей в благоустроенных жилищах, исчезнет тяжелый физический труд,

СССР станет страной самого короткого рабочего дня» (Программа КПСС, стр. 65).

С кого же теперь спросить за эти обещания? (Напомню, что моя работа написана в 1978 году, а опубликована в 1980 г. — Л.Т.) Не с кого. Никто ни за что не отвечает. В тех рядах черного рынка, где, как товар, циркулирует личность партийного чиновника, наибольшим спросом пользуется не умение увидеть глубины хозяйственной и политической перспективы, не хозяйственный талант и инициатива, но дар раболепного исполнительства.

Тот, кто предлагает на продажу именно эти качества, может не опасаться банкротства и разорения, как бы ни обстояли дела на ином, главном рынке, где широко циркулируют хлеб, машины, жилище, рабочая сила. Даже бездарный хозяин, но преданный исполнитель, обласкан будет начальством: ему при необходимости и кормление побогаче дадут. Талантливый хозяин, но нелояльный к системе и дня не продержится... Или нет, своим талантом он будет противопоставлен существующей хозяйственной системе. И смят будет, станет жить по законам бездарности, смирится.

Советская система — диктатура бездарности, диктатура страха, который бездарность испытывает перед талантом. Именно страх перед открытыми рыночными отношениями, страх проиграть на рынке — чувство хорошо знакомое, должно быть, каждому из нас — именно этот страх питает во всем мире социалистические идеи. У нас же этот победоносный страх обрел черты государственности...

Конечно, талант с бездарностью легко не разведешь. Тут на первый-второй не рассчитаешься. И того и другого начала в каждом из нас предостаточно... Важно, какому из них легче выжить, с каким из них легче выжить. Принадлежность к правящей структуре определяется чуть ли не с детства: по данным социологов народного образования, наиболее охотно исполняют поручения преподавателей и пионервожатых («занимаются общественной работой») как раз те школьники, которые не проявляют способности к математике, филологии, биологии и другим специальным дисциплинам. (Социологиче-

ские и экономические проблемы образования. «Наука», 1969).

Но ведь из комсомольских активистов вербуются послушные комсомольские функционеры, а те, в свой срок, становятся партийными чиновниками и управляют судьбой своих бывших одноклассников, которые проявили способности к математике, биологии, хозяйствованию...

Талант вынужден служить бездарности и жить по ее законам. И если таланту, чтобы реализоваться, нужен экономический простор, свобода инициативы и демократии, то бездарности реализовывать нечего, ее устраивает черный рынок, система запретов на инициативу, диктатура партийных чиновников.

Как крестьянин, который кормится со своего приусадебного участка, может не заботиться — он и не заботится — об успехах колхозного производства, так и партийный чиновник, кормящийся на черном рынке должностей, может не заботиться об успехах всей экономики. У него есть свой «приусадебный участок» — должностные привилегии и льготы. Ему не нужно думать, чем торговать и на что обменивать, его обязанность — отнять побольше в пользу государства, а уж государство о нем позаботится. Впрочем, он и сам себя не забудет.

Кажется, никакие экономические потрясения не могут поколебать стабильность системы, а значит, незыблемость привилегий и льгот партийной бюрократии в целом. Ей не грозит разорением экономическая разруха. Ей ничем не грозит разорение крестьян и рабочих.

Замкнутость, ограниченность общественных интересов партийной бюрократии той сферой, где льготы, связанные с партийной должностью, выдаются лишь в обмен на послушание и безропотность (а в конечном счете в обмен на умение блюсти запреты и давить все живое и талантливое) и не зависят от хозяйственной деятельности — сила правящей структуры, но серьезная слабость всей системы в целом.

Феодалные замашки правящей структуры, ее экономическая развращенность и бездарность постоянно гасят те возможности, которыми уже сегодня обладает в стране крупное машинное производство и которое в условиях хотя бы относительной свободы рыночных отношений дали бы колоссальный

толчок развитию производительных сил общества, значительно увеличили бы его благосостояние» (стр. 87-90).

Все, что я здесь процитировал, написано в 1978 году.

Теперь же подобный анализ советского общества лежит в основе докладов и выступлений генерального секретаря.

Подобного анализа ждут от обществоведов.

Да подобный анализ уже и становится повседневностью передовой советской социально-политической научной мысли: вспомним хотя бы статью академика Т.Заславской в журнале «ЭКО» № 3 за 1986 год, вспомним ее беседу, опубликованную в газете «Московские новости» № 9 от 1 марта 1987 года, где сказано буквально следующее:

«Ныне действующая система управления человеческим фактором отличается крайней жестокостью, негибкостью, слабой приспособляемостью к изменяющимся условиям места и времени. Отсюда — постоянная борьба хозяйственных руководителей с буквой устаревших, не соответствующих времени инструкций, уподобляющихся "мертвым, которые хватают за ноги живых". Правда в данном случае "мертвые" обладают значительно большей силой, чем "живые", ибо за ними стоит закон».

Но за законом, в свою очередь, видны люди, видно определенную социальную группу. Эту «группу составляют слои, объективное положение которых вынуждает их цепляться за старое и всемерно препятствовать прогрессивным преобразованиям, тем более, что такая возможность у них имеется. Это, прежде всего, часть работников центральных хозяйственных ведомств, а также их местных управлений, образующая разросшийся за последние пятилетки бюрократический слой, пользующийся социально необоснованными привилегиями и заинтересованный в сохранении прежних порядков».

Так говорит академик Заславская. Человек мужественного мышления, говорит она по-женски мягко (впрочем, такой, как не большей, женственностью страдают куда как многие мужчины экономисты и социологи, когда им приходится публично открывать рот). Но сильно ли отличаются ее мысли 1987 года от моих — десятилетней давности?

Но вот суждения еще более близкие моим: они опубликованы в журнале «Наука и жизнь» № 4 за 1987 год. В статье доктора экономических наук Г.Попова «С точки зрения экономиста» (о романе Александра Бека «Новое назначение») читаем: «Для Административной Системы изобретение становится изобретением, а НТП (научно-технический прогресс) — НТП только в том случае, если на них этот штамп поставит Верх: в виде плана, директивного задания, стандарта и т.д....

Эта система не приспособлена к иным по уровню решениям, чем централизованные, к иным по типу решениям, чем волевые. Она способна на поиск, но только в совершенно конкретном, ограниченном варианте: если он идет сверху. Но состав руководителей в Системе, как мы видели, неизбежно ухудшается. Перерождаются пришедшие в нее кадры — из-за перегрузки, бремени ответственности, бесконтрольности в отношении подчиненных. Назначаются на руководящие посты воспитанные этой системой все более исполнительные распорядители...

...Возникает все усложняющаяся ситуация: Система предполагает оценку вариантов НТП только наверху, а наверху оказываются все больше... людей «зашоренных» и воспитанных исключительно в духе исполнительности, безынициативности» (стр. 61).

Так профессор Г.Попов пишет в апреле 1987 года, и его, слава Богу, не сажают за клевету. А вот дальше у того же автора и насчет пресловутой «диктатуры страха»:

«Страх — обязательный элемент более или менее жесткого механизма администрирования. И трудно сказать, какая доля в беспредельной четкости и исполнительности... связана с этим страхом, а какая сформирована верой в правоту Хозяина. И так ли уж оторваны друг от друга и эта вера, и этот страх?..

Вот и выходит, что сама внутренняя логика Административной Системы требует подсистемы страха, требует права Верха в любой момент сместить любого нижестоящего без объяснений причин этого смещения. И это право может — в силу ряда условий — вырасти в право вообще устранить подчиненного из жизни. Вопрос о конкретных формах этой подсистемы — сам

по себе важный — для нашего вывода не столь существен. Важно, что такая подсистема была нужна для обеспечения эффективного администрирования. Поэтому необходимость Берии заложена в сути Административной Системы, а реализовываться эта возможность может и в относительно культурном, и в наиболее варварском виде.

Вот почему подлинное «покаяние», подлинное отречение от Берии может быть только в одном случае: если мы поймем, что должна быть перестройка всей системы административного управления» (стр. 62).

Только если мы поймем... А мы это и поняли — еще десять лет тому назад — за то и были арестованы, судимы, отправлены в тюрьму, в лагерь.

Конечно, возможно, десять лет тому назад доктор экономических наук Г.Попов, академик Т.Заславская и сам генеральный секретарь КПСС еще не пришли к тем мыслям, которые они высказывают сегодня. Или пришли к этим мыслям, но почему-либо решили не высказывать их вслух — для нас это здесь не так существенно. Существенно то, что их сегодняшние мысли представлены на суд общественности, и решительно не понятно, почему же мои-то мысли представлены на суд следователя КГБ, человека с кругозором и знаниями выпускника высшей комсомольской школы. Быть может, пусть лучше по поводу моей книги — пусть хоть и с десятилетним опозданием, не беда! — выскажутся доктора наук, академики, а может быть, и сам М.С.Горбачев. Давайте предавать друг друга гласному суду общественного мнения, а не уголовному суду в рамках «подсистемы страха»!

Я мог бы и далее, глава за главой, абзац за абзацем, цитировать и комментировать свою работу «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», и любому непредвзятому читателю легко было бы убедиться, что клеветы в ней никакой нет, что нет в ней и намерения нанести какой бы то ни было ущерб государственному и общественному строю, легко было бы убедиться, что мои заботы о государстве и обществе ничуть не менее искренни и ответственны, чем заботы Г.Попова, Т.Заславской, генерального секретаря и следователя

КГБ. Дело за малым: перестать считать меня уголовным преступником только за то, что я высказался в 1978 году, а не в 1987 году, — и дать возможность непредвзятому читателю познакомиться с моей книгой.

Мне также инкриминирован рассказ «Ловушка»: «в то же время и в тех же преступных целях, — сказано в приговоре, — Тимофеев написал антисоветский клеветнический материал "Ловушка. Роман в четырех письмах", в котором также заведомо ложно опорочил советский государственный, общественный строй, социалистическую экономику».

Право, отводить уголовное обвинение автору *р а с с к а з а*, т.е. работы беллетристической, — занятие времен инквизиции, но что поделаешь. Не наша вина...

Сюжет рассказа «Ловушка» заключается в том, что номенклатурный хозяйственный работник — председатель колхоза, — разочаровавшись в социально-экономических возможностях существующей системы хозяйствования (в тех самых, о каких теперь говорят Г.Попов, Т.Заславская и генеральный секретарь КПСС), пытается выйти из круга «номенклатуры», чтобы жить относительно спокойной жизнью неруководящего хозяйственника-специалиста. Помехи, чинимые ему в этом его начальством и, в частности, секретарем обкома, доводят его до самоубийства.

В рассказе нет прямого авторского текста — таковы условия эпистолярного жанра. Таким образом, слова приговора по моему делу о том, что я «заведомо ложно опорочил», не только безграмотны, но и бессмысленны, равно как и приписываемые мне в обвинительном заключении суждения о советском обществе и советской экономике, — суждения эти принадлежат моим героям.

В чем же именно я «опорочил»? Чем именно? Сюжетом и его построением? Выбором именно таких, а не иных героев? Лексическими характеристиками персонажей? Чем именно?

Для того, чтобы вывести квалифицированное суждение о литературной работе, надо, как минимум, провести хотя бы элементарный литературоведческий анализ. Нужно быть полным профаном, чтобы напрямую инкриминировать автору слова и

мысли его героев. Нужны юридические нормы времен инквизиции, чтобы за слова и мысли героев отправлять автора в тюрьму, в лагерь.

Как антисоветский клеветнический материал определяет приговор и мое эссе «Последняя надежда выжить». В обвинительном же заключении сказано, что это произведение я «изготовил» в целях подрыва и ослабления советской власти. Разберемся.

«Последняя надежда выжить» — социально-политическое эссе размером около четырех печатных листов (80-90 стр. на машинке). В этой работе рассматривается, как именно здравый смысл простого человека и всего общества в целом на протяжении десятилетий успешно сопротивлялся и сопротивляется порой бессмысленным, а часто и напрямую губительным руководящим действиям правящего аппарата — тем самым действиям, о которых говорят и Г.Попов, и Т.Заславская, и генеральный секретарь. В работе рассматривается не активное, политическое, радикальное сопротивление, но сопротивление самим образом жизни, самой приверженностью тому социальному и нравственному укладу, который сложился веками — в семье, в хозяйственной деятельности, в системе межличностных отношений. Именно в этом природном консерватизме общества я видел и вижу последнюю надежду в борьбе с радикальным безумием, охватившим человечество в XX веке.

В работе и намек нет на намерение подрыва или ослабления советской власти. Напротив, там сказано буквально следующее:

«Нам остается одна надежда — надежда на то, что исторический процесс о с в о е н и я (или, вернее, о т т о р ж е н и я) общественным разумом чужеродного тела социализма пойдет скорее, чем процесс политической и нравственной деградации правящего аппарата, что могло бы привести всю систему на грань катастрофы. В некотором смысле наша надежда — на стабильность социалистического государства» (стр. 175).

Надежда — на стабильность. Это ли намерение подрыва и ослабления?

Читаем в другом месте: «Как бы мы ни симпатизировали деятелям, смело требующим общих и частных перемен в политике, как бы мы ни ощущали нравственную силу и необходимость такого рода протеста — а именно в нем сегодня общественное мнение наиболее остро о б ъ е к т и в и р о в а н о, — как бы мы ни понимали значимость поведения людей, демонстративно отвергающих ложь, и как бы сами ни стремились вести себя именно так, мы все-таки должны признать, что никакие общие политические перемены сегодня невозможны и что уж тем более не спасут нас частные изменения в политике, оставляющие неизменной систему в целом.

Что же нам нужно? Не ухо же первосвященникова раба. А свободу нельзя добыть насилием.

Русская революция 1917 года доказала хотя бы одну благую истину: партийная борьба радикалов опасна и бесплодна, и время ее в истории человечества завершается.

Или ею завершится сама история...

На что же нам надеяться?

На здравый смысл общества, на общественное мнение. А это сила немалая, ею движется глубинный исторический процесс...

И еще на мудрое смирение, которое и составляет духовную основу здравого смысла. На смирение, которое и позволило нашему обществу выстоять против чудовишного, невиданного в истории давления, ибо смирение — не форма рабского подчинения, но форма духовной свободы в условиях административного рабства.

Иными словами, наша надежда — не на победоносную революцию, а на фундаментальную и плодотворную работу общественного мнения» (стр. 169-170).

Можно ли в этих текстах увидеть агитацию в пользу «подрыва и ослабления»?

Если ослабление советской государственной и общественной системы и происходит на деле, то виновата здесь не моя книга, но, скорее, тот охранительный механизм, которому понадобился суд над книгой, суд над самой попыткой анализа.

Теперь уже всем понятно, что без постоянного анализа пороков системы, без гибкой политики, связанной с этим анализом,

система близится к жестокому кризису. Почему же, поощряя теперь анализ, на десять лет опоздавший, власти преследуют меня, автора своевременно проведенного анализа?

По крайней мере, десять лет тому назад (а и до меня, и одновременно со мной другие люди не хуже, как не лучше думали — и говорили!) можно было встревожиться сегодняшними тревогами, опечалиться нынешними печальми. Можно было, да «подсистема страха» не давала. Страх мешал анализировать болезни общества и их причины. Он и сегодня мешает. И теперь еще на десяток лет опаздывает обществоведческая мысль, как не больше того. И виноваты те, кто поддерживает систему страха — виноват репрессивный механизм и те в руководстве, кто его поддерживает (и кого он поддерживает). Вот что ослабляет страну, а не моя книга.

И уж конечно, куда как безграмотно, как-то по-первобытному тупо — вменять мне в уголовную вину мою пьесу «Москва. Моление о чаше».

Сюжет пьесы — несколько часов жизни семьи московских диссидентов. Несколько часов в ожидании ареста... Можно ли драматургу вменить в вину слова и поведение его героев?

Право, обвинения против меня как автора пьесы даже и отводить всерьез не хочется, настолько они безграмотны и вздорны. Следовательно, к примеру, прямо заявил мне: «Вы ведь собираетесь уехать за границу». — «???!» — «Ну, как же, вот в пьесе ваш герой говорит: "Давай все бросим и уедем!"»

Куда какой специалист!

Вот такой вот «литературовед» со средним юридическим образованием и решает, что хорошо, что плохо для советской государственной и общественной системы.

Это опасно, что именно он распоряжается движением общественной мысли. Опасно для общества, для страны.

Как видно теперь, все утверждения суда и следствия о клевете, о намерении подрыва советского общественного и государственного строя — все это пустяки, которые не имеют под собой никакой фактической почвы. В упомянутых работах мною проведен подробный анализ существующей советской социально-политической, экономической, нравственной систе-

мы. Правильные выводы из этого анализа могут сделать лишь те, кто шаг за шагом пройдет вслед за мной всю систему проведенных мной доказательств и выводов. Об этом я и просил Прокуратуру СССР в специальном ходатайстве, написанном сразу по окончании следствия и ознакомившись с материалами дела, — и просил о назначении экспертизы специалистов — экономистов, социологов, литературоведов. Увы, в экспертизе мне было отказано. Выпускник комсомольской школы остался главным авторитетом.

Теперь немного о сугубо юридической стороне дела, о соответствии моего поведения, моих поступков ст. 70 УК РСФСР. И в частности, о факте распространения моих произведений.

Да нету здесь, в деле, ни одного такого факта! То есть, слова есть: «переправил за границу»... «переслал на Запад»... «переслал за рубеж»... Но все это голословные утверждения. Ни одного факта в деле нет — ни одного! Кто переслал рукописи на Запад? Когда они были туда переданы? Каким образом они попали в те или иные редакции журналов и на радио — это мне неизвестно. Неизвестно это осталось и суду, но, тем не менее, инкриминировали передачу именно мне.

Это не единственная прямая ложь в приговоре суда и в обвинительном заключении. В приговоре сказано: «Свидетель Г-в в судебном заседании показал, что со слов жены Тимофеева ему было известно о публикации Тимофеевым своих работ за рубежом». Но беседа свидетеля Г-ва с моей женой — беседа, во время которой он узнал о публикации моих работ за рубежом, — состоялась после моего ареста, после того, как о публикации моих работ за рубежом стало известно не только моей жене, но и буквально всем знакомым со мной.

Далее. В приговоре сказано: «Свидетели Ж-в и И-в показали, что в материале под названием "Ловушка" использованы некоторые фактические данные развития их колхоза, но многие факты искажены и порочат советскую действительность». Ж-в и И-в — один бывший, другой настоящий — председатели колхоза «Красный каучук» Шацкого района Рязанской области. На суде они присутствовали как свидетели только потому, что

у меня в рассказе тоже есть колхоз с таким названием. И все — больше ничего общего нет и быть не должно! Ведь я же писал рассказ, а не отчет о положении дел в колхозе «Красный каучук». Да я, признаться, и не был никогда в этом колхозе. Мне понравилось название — я его и взял, — редкое название... Но что было бы, сколько бы свидетелей моей клеветы привело следствие, если бы я назвал придуманный колхоз «Рассвет» или «Восход» — этих-то сотни, как не тысячи, и ни один из них не был бы похож на тот, что в рассказе. То-то свидетельство клеветы! Тоска-то какая!

Итак, вспомним статью 70 Уголовного кодекса РСФСР. Статья эта — в разделе «Особо опасные государственные преступления». У статьи есть свое название: «Анτισоветская агитация и пропаганда». Вот сам текст статьи:

«Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания...»

Я никого не агитировал и ничего не пропагандировал.

В своей литературной работе я никогда не имел никаких политических целей.

Я никогда ничего не распространял.

Мои работы не содержат клеветнических измышлений — они анализируют советский общественный и государственный строй.

В моих действиях нет состава преступления по ст. 70 УК РСФСР.

Прошу Вас пересмотреть мое дело и полностью реабилитировать меня.

3 июня 1987 года
гор. Москва.

Генеральному секретарю ЦК КПСС
Члену Президиума Верховного Совета СССР
Г о р б а ч е в у М. С.
от литератора Тимофеева Льва Мих.,
прож. г. Москва (адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

2 февраля 1987 года Указом Президиума Верховного Совета СССР № 6462-11 я был помилован и освобожден от отбывания дальнейшего наказания (всего 6 лет лагеря и 5 — ссылки), к которому был приговорен ранее по ст. 70 УК РСФСР за свои литературные произведения.

Мое освобождение, как и освобождение других политзаключенных, воспринимается как благой шаг в сторону демократизации страны.

Но это лишь первый шаг. Помилование — не реабилитация.

В моих книгах «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» и «Последняя надежда выжить», содержание которых было мне вменено в вину, говорилось о порочной социальной и хозяйственной практике последних лет. Разве говорить об этом и теперь все еще считается преступлением? Почему же меня-то продолжают считать преступником?

Я заявляю о необходимости реабилитации прежде всего потому, что это было бы реабилитацией с а м о г о п р а в а на своевременный, внимательный и гласный анализ жизни страны, ее проблем — анализ, которого, видимо, так не хватало в годы, справедливо определенные Вами как время «предкризисных явлений».

Я заявляю о необходимости реабилитации еще и потому, что это было бы реабилитацией определенного с т и л я о б щ е с т в е н н о г о п о в е д е н и я — открытого и заинтересованного.

Без такой реабилитации, как и без окончательного освобождения всех узников совести в стране, было бы невозможно ут-

верждение провозглашенных Вами принципов гласности и демократизации.

Приложение: Обоснованное заявление в Президиум Верховного Совета СССР о необходимости полной реабилитации — на 17 л.

3 июня 1987 года
гор. Москва.

ПОСЛЕДНИЕ ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Я мало что знаю о собственной жизни. Я плохо вижу. В ежедневном течении явлений и событий мне дано увидеть только поверхность, только внешнюю сторону, только само движение — но суть происходящего остается закрытой — тайна! Сколько должно пройти времени, чтобы хоть чуть приоткрылся смысл происходящего с нами сегодня — годы? десятилетия? века? Или должна завершиться вся История в целом, чтобы в ней вполне определились смысл и гармония каждой отдельной жизни?

Почему мне удалось сделать эту книгу? Не знаю. Не понимаю. До сих пор никогда никто из осужденных за «антисоветскую агитацию и пропаганду» не имел возможности опубликовать свое «дело» так полно, как это дано мне. Кем дано? Не знаю.

Обычно тома подобных «уголовных дел» лежат где-то в секретных архивах Комитета государственной безопасности, и никогда никто из бывших политзаключенных не получал к ним доступа. И я-то не чаял когда-нибудь увидеть свое «дело» — думал, в лучшем случае, внуки прочтут — прочтут и поймут наше время и нас самих, — а скорее и вовсе будут эти документы заблаговременно уничтожены. И поэтому, когда вскоре после освобождения из лагеря я пришел в Мосгорсуд и написал заявление с просьбой ознакомить меня с моим «уголовным делом», я действовал совсем без простодушных надежд. Я совершенно сознательно ждал отказа. Мне важны были мотивы, по

которым откажут. Я хотел начать «Дело об истребовании "Дела"». И вдруг: «Можно, приходите — читать будете здесь, в Мосгорсуде...» Это было едва ли не самое большое потрясение в жизни. Даже освобождение из лагеря меня не так удивило.

Что нужно увидеть за этим? Попытку соблюдения законности? Или просто где-то что-то в механизме сломалось, что-то заклинило, какая-то шестерня не туда заскочила? Время покажет... Но мне было дано, и я не имею права этим не воспользоваться...

Я не раз задумывался, кто я такой. И чем старше я становился, тем менее заносчив был мой ответ. И вот как-то в лагере я, кажется, понял вполне. Мне вспомнилось, что некогда Он послал людей в недалекое селение привести молодого осла: «Скажите, что он надобен Господу». Вот я себя и чувствую тем ослом, которого отвязали и повели — для чего-то он надобен Господу. Я иду и не задумываюсь, куда и для чего именно. Все равно не понять — тайна!..

Я закончил эту книгу своим заявлением генеральному секретарю. Закончил ее, не дожидаясь ответа на заявление. Да каков бы он ни был, этот ответ, он мало что значит. Только время способно показать, станет ли эта книга документом прошедших времен или будет пособием для тех, кому еще предстоит пройти через те же допросы, камеры, лагеря.

Время покажет.

...И все-таки еще до того, как книга окончательно ушла из моих рук к читателю, получил я ответ (не от Горбачева — от с а м о г о не положено):

Герб СССР

Прокуратура Союза ССР

103793, ГСП, Москва К-9

Пушкинская 15-а

09.07.87 № 13/28-85

101000 г. Москва

(адрес)

гр. Тимофееву Л.М.

Сообщаю, что Ваше заявление, адресованное в ЦК КПСС, рассмотрено Прокуратурой СССР.

Материалами уголовного дела установлено, что Вы были обоснованно осуждены Московским городским судом 19 сентября 1985 года за совершение преступления, предусмотренного ст. 70 ч. 1 УК РСФСР.

Ваша вина в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, заключением автороведческой экспертизы и другими материалами уголовного дела. Мера наказания была назначена судом с учетом повышенной общественной опасности совершенного тяжкого преступления, отягчающих и смягчающих ответственность обстоятельств.

В связи с Вашим заявлением о прекращении впредь противоправной деятельности Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1987 года Вы были помилованы и освобождены от дальнейшего отбывания наказания.

Оснований для принесения протеста в порядке надзора на состоявшиеся по делу судебные решения не имеется.

Ваше заявление о полной реабилитации оставлено без удовлетворения.

Прокурор отдела по надзору
за следствием в органах госбезопасности
советник юстиции

И.К. Тимов

Вот такая вот бумага. Что она значит? Не пойдет ли и теперь жизнь всё теми же, хорошо знакомыми кругами? Не заглянуть ли нам в начало книги?.. Не знаю.

Ничего... Будем жить.

Приложение

**«Москва. Моление о чаше»
Комедия**

Действующие лица:

Она

Он

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Квартира. О н а лежит на тахте, укрывшись с головой.

О н (*входит*). Ау! Спишь? А почему свет горит? Отдерни шторы — еще солнце светит, белый день, а ты спишь — и свет включила. Посмотри, на щеке отпечаталась подушка... Ты что, с утра, что ли, так?.. Ну что ты молчишь? У тебя есть совесть? По целым дням лежишь, лежишь... Что ты теперь на меня уставилась? Тебе на все наплевать: включила свет — и спит. В коридоре горит, на кухне две лампочки, в ванной горит... Ну что, что ты смотришь?

О н а. Хорошо было, тихо... Пришел — и наговорил, наговорил.

О н. Ну вот я выключил — что, стало темнее? Ну что ты сидишь?

О н а. Жду, когда опять будет тихо... Будешь ужинать?

О н. В чем я неправ? Сегодня был жаркий, душный день — у тебя все закрыто, законопачено... А ты посчитай, сколько лампочек горело и плита на кухне.

О н а. Ах, миленький, на лампочках не сэкономишь. Не нужно было второго ребенка рожать, я говорила. Но ты добренький — на словах, конечно... Пусть будут дети, много детей... Гуманист... У тебя покурить нечего?

О н. Ты не заметила? Уже два месяца, как я бросил курить... С тобой что-то происходит в последнее время, да? Вчера, сегодня... Но сегодня ты особенно... Что-нибудь случилось?

О н а. Да нет же, ничего не случилось. Это ты пришел и начал скандалить. Послушай, попугай на кухне повторяет твой монолог.

О н. Я начал скандалить? Да я не умею. Я просто назвал вещи своими именами. За день ты сколько нажгла?

О н а. А ты посчитай... включи все — и посчитай.

О н. А ведь я шел домой в прекрасном настроении. Я шел и даже твердил строку: «Я шел домой в прекрасном настроении...» Верно, есть какая-то музыка? Может быть, я снова начну писать стихи? Я шел домой в прекрасном настроении. Но потом я поднял голову и увидел наши окна — четыре окна, и все закрыто, занавешено... Прихожу сюда — ты спишь, всюду свет горит... Ты мне, подруга, что-то не нравишься. Ты что, злая или просто сонная? Ты немного отекала, да? Опять голова болит?

О н а. Тебе-то что за дело?

О н. Да как сказать... рядом живем, из одной посуды едим, иногда одним одеялом укрываемся.

О н а. И живи себе... Публицист. Выступил, как дело сделал. Теперь отдыхает... Отстань... Можешь вот посуду помыть: горячей воды нет, а я что-то коченею... Я вообще все время мерзну...

О н. Ладно, давай помиримся. Я же к тебе торопился, думал, ты меня ждешь, топится очаг, варится похлебка, чисто, уютно — как жена должна встречать мужа? А ты спишь, свет горит... Ты бы хоть спросила, почему я шел в хорошем настроении... Вот, я даже принес коньяк — посмотри, армянский, твой любимый... Вот гора Арарат, сюда причалил Ной во время потопа... Давай причалим... Вокруг потоп, денег нет, одни долги, чем отдавать неизвестно... Знаешь, сколько у меня долгов? У меня, у меня — тебе на наши долги наплевать, — лежишь себе... Да и лежи, только бы в радость — нет же, злая... Когда ты злая, я совершенно теряюсь, чувствую себя особенно одиноким... Давай высадимся на эту гору. На горе Арарат вырастает виноград... Ну давай напьемся и помиримся... Я же, ей-богу, не хотел.

О н а. Да пошел ты... Я и не ссорилась с тобой. Очень ты мне нужен. Это ты вошел и, как баба, стал скандалить... Господи, вот невезуха-то в жизни! Я, если хочешь знать, ждала тебя — мы же хотели что-то делать, хотели обоим клеить, детей

третий день у матери держим, Дашка третий день школу пропускает... Я уж без тебя хотела начинать... а ты... за весь день даже не позвонил. Ты посмотри, в каком сарае живем. Людей позвать стыдно.

О н. А знаешь, наше дело, кажется, разворачивается. Я получил крупный заказ: полная сумка, и там еще полсотни книг. Мы хорошо заработаем... Смешно: я становлюсь модным переплетчиком... А здесь действительно нужно прибраться. Ведь я могу принимать на дому — так солиднее, чем бегать по чужим квартирам, верно? Мне как-то не по возрасту, я все-таки известный советский журналист...

О н а. В прошлом... в прошлом известный журналист, а ныне известный переплетчик.

О н. А тебе — сказать обязательно.

О н а. Что же такого? Известный переплетчик, известный сапожник, известный портной... Кто ты будешь такой?

О н. В прошлом, но известный. «Тот самый?» Тот самый. И вдруг — здравствуй: «Ножи точим, стекла вставляем, книги переплетаем!..» Лучше здесь принимать... Кого позовем?

О н а. Кого позовем?

О н. Да... Ты говоришь, людей позвать стыдно.

О н а. Никого я звать не хочу... А самим жить не противно?

О н. Как ты можешь сидеть с закрытыми окнами? День был такой душный, смотри, я все раскрыл, и никакого движения воздуха.

О н а. Я все время мерзну.

О н. Мне нужно подвигаться, я должен быть в форме. *(Делает несколько упражнений на шведской стенке.)*

О н а пытается поймать моль.

В доме полно моли. Опять что-нибудь сожрет.

О н а. Это самец летает... Он просто летает, он не жрет... Дашка где-то вычитала: самец летает, а жрет самка... Самка не летает, она жрет... ма-ленький такой червячок, самочка, сидит где-то и жрет. Самцы летают, а самки жрут.

О н. Ладно, делаем уборку и ремонт. Надо все перетрясти. Завтра встанем пораньше, зарядочку с гантелями, холодный душик...

О н а. Ну понес, понес... Помолчи... Готова линия поведения, запланировал... И все планы, планы... и ничего этого не будет... целый год клеим.

О н. Вот странно, стоит мне нацелиться на какое-нибудь дело, как ты сразу встаешь на пути со своим вечным сомнением, со своим вечным нытьем. Я не пойму, мы как-то с тобой отдаляемся, что ли, друг от друга? Что происходит? Что я должен сказать, чтобы ты со мной согласилась?

О н а. А ты не строй планы — как получится, так и будет.

О н. Да нет, зачем же — решено. Завтра клеим обои и приглашаем гостей. Пора изменить жизнь, а то нас моль сожрет. Я все время твержу: мы оторвались от людей, живем очень одиноко... Раньше — помнишь? Каждый вечер кто-нибудь заходил обязательно, благо — в центре живем... А теперь?.. Я вижу, тебе не хватает общения...

О н а. Раньше заходили, было общее дело, общие разговоры. Теперь у всех свои дела. А у тебя дело какое?

О н. А может быть, сами пойдем куда-нибудь в гости? Плюнем на все и поедem завтра же... Или к себе позовем... Ну, скажем, пусть к нам придет наш старый друг Овсей Лисичкин, Севочка Лисичка... Ты чувствуешь, мое мышление как бы ритмизируется: пусть к нам придет наш старый друг Овсей Лисичка — как называется этот размер: та-та-та-та та-та-та-та та-та-та-та. Вот будет смеху, если я опять начну писать стихи.

О н а. Севочку приведешь, когда я подохну. Понятно? Тебе много раз говорили, что Севочка — подонок... Как ты можешь? Меня от него тошнит. Хватит, что ты принес его отвратительный запах... Чем это он душитя?

О н. Разве? А ведь он, и правда, меня тут на машине подбросил... Ну хорошо, хорошо, давай сами куда-нибудь двинемся. Мы должны жить по-новому. Ты посмотри на себя в зеркало: тебе нужно выйти отсюда, нужно в гости. В гостях ты всегда преображаешься, становишься живая, общительная, добрая. Пойдем куда-нибудь, а? Дети все равно у бабушки... Говори, куда пойдем. Нацелимся — и выполним. Ты реши, и мы пойдем. *(Уходит в ванную.)*

О н а. У нас телефон отключили. *(Как бы проверяя, берет телефонную трубку, но убеждается, что телефон до сих пор не работает.)* У нас телефон отключили!

О н *(выглядывая из ванной)*. Что ты говоришь? Дай, пожалуйста, полотенце.

О н а. Сам возьмешь.

О н *(появляясь в халате)*. Какая же ты злая: у тебя даже лицо изменилось, стало совсем чужое. *(Проходит в другую комнату и появляется в спортивном костюме, делает несколько движений карате.)* Принять душ — все равно, что заново родиться. После душа мне всегда хочется писать новую книгу... По рюмашке — и начинаем жить заново — все заново...

О н а. У нас телефон отключили.

О н. Когда отключили? Как? Ты с кем-нибудь разговаривала? Ты разговаривала — и отключили? Кто звонил? Когда ты узнала, что отключили?

О н а. Я сначала тоже испугалась...

О н. Но ты же понимаешь, что значит — отключили телефон.

О н а. У меня тоже сердце упало. А что? Что делают в этом случае? Ты знаешь, что в этом случае делают? Но нет, это мама звонила, а я трубку на кухне не положила — забыла. Зачем-то пришла сюда, а на кухне трубку оставила. Станция отключила — так бывает. Мама потом приходила, обещала дозвониться в бюро ремонта. Пока не включили.

О н. Ты понимаешь, что говоришь? Как можно забыть? Ну как можно забыть? Ну как можно забыть выключить свет, забыть выключить плиту, забыть телефонную трубку? Как? Как?! Ты какой-то враг в доме. Два года ты палец о палец не ударила, чтобы облегчить нашу жизнь... лежишь, лежишь... Забыла... Пойми, все это плохо кончится.

О н а. Не кричи, пожалуйста, говори шепотом... Я целый день была совершенно больна... Утром, только ты ушел, явилась Дашина учительница с каким-то обследованием — у меня сразу разболелась голова. Я ей улыбалась, говорила: у нас ремонт... выпроводила... А потом мама: она сегодня два раза приходила и пять раз звонила. Последний раз она позвонила и

сказала, что у Танюши ангина. Я так расстроилась... Нам только этого сейчас не хватало.

О н. А я говорил, твоей маме детей отдавать нельзя — ни на три дня, ни даже на три часа.

О н а. Напиши про это статью в «Комсомольскую правду».

О н. Я еще раз говорю...

О н а. Да замолчи! Что же это за наказание такое! И ты еще требуешь третьего ребенка... Вот это видел?.. Ребенок заболел — спроси, не нужно ли чего, пожалей ее — она маленькая.

О н. Когда детей отдают в равнодушные руки...

О н а. Ах, какой заголовок! Репортаж из зала суда.

О н. Нет, ты в последние дни совершенно невозможная. Это ведь не только сегодня... Ты что-то скрываешь от меня? Ты постоянно чем-то раздражена... Может быть, ты завела любовника, и я тебя раздражаю?.. Что бы я ни сказал, что бы ни сделал, ты начинаешь вздорить... Вчера был скандал из-за разбитой чашки... позавчера — уже не помню из-за чего, но тоже был скандал, ты безобразно кричала на меня, пыталась драться — и при детях! Я понимаю, нам трудно: мне пришлось уйти с работы, мы выбились из привычного круга, нет денег, но раньше мне казалось, что мы готовы к такой жизни, мы знали, на что идем... А теперь... Давай сядем и спокойно разберемся, что происходит. Пойми, человек не может жить в обстановке постоянного скандала. В семьях, где родители постоянно грубят друг другу, дети вырастают преступниками — это установленный факт. Давай помиримся и поужинаем, а?

О н а. Пожалуйста, но только все сам.

О н. А ты посидишь со мной?

О н а. Почему я никак не могу согреться?

О н. А ты выпей рюмочку.

О н а. Может быть, потом, с чаем.

О н. А эта гадость откуда в доме?! Ой, да сколько их!

О н а. Что еще?

О н. Портреты руководителей партии и правительства.

О н а. Как же ты меня испугал. Я думала — тараканы... Этот плакат Дашка принесла из школы, им на политзанятиях

раздали. Первый класс — и политзанятия... Ей бы «У лукоморья дуб зеленый», а они — политзанятия. Ничего не смыслит, но в мозги забивается... Приходит совершенно перепуганная с этих политзанятий, спрашивает: война будет, да? В бомбоубежище жить будем, да? А этих миротворцев вот необходимо знать каждого по имени.

О н. Какая компания к ужину! Приятного аппетита. Я тоже здесь живу... Выброси их немедленно.

О н а. Ты что, выброси... Там ремонт, пусть здесь висят. Дашка их уже различает и радуется: это дедушка Андропов, это дедушка Алиев, это дедушка Черненко, это дедушка Устинов. А почему, говорит, все дедушки и нет ни одной бабушки? Она и в этой тоске ищет смысл и логику: дедушка есть, должна быть бабушка.

О н. Я прошу тебя, выброси. Искалечишь ребенка. Повесь ей Пушкина, Жуковского. А на этих она успеет насмотреться, когда вырастет.

О н а. А как выбросишь? Учительница велит. Ей у нее учиться. Начинать сражение? Я не могу ребенком сражаться, это искалечит ее еще больше... Пусть... ничего, я потом подсуну Пушкина... У нас был Сталин, у нее — эти. Сказали бы тебе тогда: выкинь!.. А сейчас они быстро понимают, что к чему, и эта компания дедушек у них без ореола... А ты знаешь, я сегодня ничего не ела. Может, мне и плохо оттого, что голодная? Сделай мне бутерброд.

О н. Нет, это кто бы послушал! Я целый день бегал, ты лежала, и я еще должен тебе подавать.

О н а. Какой же ты зануда. Я больна... Ладно, я сама.

О н. Ну уж давай сделаю... Ты ведешь порочный образ жизни. Питаешься беспорядочно, мало двигаешься. Надо рано вставать, делать зарядку... и ты меня прости, надо побольше работать.

О н а. Ну да, в первый год нашей жизни на день рождения ты подарил мне гантели, чтобы я была в форме... решено, встаем пораньше, гантельную гимнастику, холодный душ — начинаем новую жизнь... Если бы ты знал, как мне отвратительна твоя телесная жизнь, твоя гимнастика, твоя постоянная забота,

чтобы быть в форме... Почему же так холодно?

О н. Двигаться надо, надо работать. Ну вот сегодня...

О н а. Я больна.

О н. Вот я и говорю, почему больна-то? Ты как-то выбилась из колеи, вот что. Почему ты ушла из своего журнала? Тебя ценили, хороший редактор, знаешь дело, хорошо пишешь — очень хорошо пишешь... Ну, ладно, ушла и ушла. Решила быть с детьми. Могла бы дома подрабатывать, дети не мешают... Ты хорошо лепишь из глины, твои игрушки — восторг! Ты начала и сразу получила тьму заказов — от знакомых, от мало-знакомых — почему перестала работать? Вон вся квартира недоделками забита...

О н а. Я больна.

О н. Да вот же я и говорю, почему больна-то...

О н а. А ты не говори, ты пожалей меня.

О н. Да мне тебя жалко, но помочь-то я чем могу? Ты скажи, я все сделаю. Хочешь, я сейчас начну клеить обои? Я люблю работать по ночам. Хочешь, помою пол на кухне?

О н а. Не мелькай перед глазами. Ничего не надо. Сядь. Ты просто пожалей. Посиди рядом. Молча... Что-то рука болит.

О н. Сажу рядом... ручка наша болит... Погладим нашу ручку бедненькую. Может быть, все-таки закрыть окно? Мы ведь с тобой совсем одинокие — нам бы прижаться друг к другу потеснее, а ты все щетинишься, топорщишься... Вот что... сейчас мы выпьем коньячку и ляжем спать... Или нет, сначала ляжем, а потом выпьем коньячку, посидим, попьем чайку. Да? Ляжем? Мы ведь с тобой любим потом посидеть, попить коньячку с чаем.

О н а. Не вяжись. Все, что любишь, ты любишь один, и тебе всегда наплевать, что люблю я.

О н. Неправда. Зачем ты меня нарочно обижаешь?

О н а. Тебя обидишь, как же! Ты не человек — чурбан. (*Передразнивает.*) «Что с нами происходит... что с нами происходит...» А ты все равно никогда не поймешь, что с нами происходит.

О н. Какой же я чурбан? Вот мы с тобой живем двенадцать лет, а мне тебя хочется так, словно мы вчера познакомились.

О н а. Заткнись, противно слушать. И всегда одно и то же. Хоть бы что-нибудь другое от тебя услышать... Все-таки где-то был, с кем-то виделся.

О н. Севочка...

О н а. Ну, конечно, Севочка... А еще? Ну хоть кто-то...

О н. погоди, что он тебе? Севочка, какой бы он ни был, ищет мне работу — и находит. Этот заказ — весь через него... А заказ-то какой! Вот эти журналы — это директор гастронома. Какое знакомство, а?

О н а. Вот и расскажи: директор, человек...

О н. Директор — человек... (*Внезапно озабочен.*) Тихо! Вот что это звучит?

О н а. Да где же?

О н. Ну вот... как будто что-то включилось... Телефон? Нет... Такой звук... очень похоже, как микрофон фонит... Что за звук?

О н а. Звук оборванной струны.

О н. Думаю, телефон все-таки прослушивается...

О н а. Говорят, всех слушают... И наши скандалы они тоже слушают?

О н. Они все слушают.

О н а. Вот и расскажи им: директор гастронома... Заодно и я послушаю. А у него мяса заказать нельзя?

О н. Не знаю... подождем, что-нибудь сам предложит.

О н а. А что он предложит?

О н. Все что угодно, хоть билеты в Большой театр.

О н а. Жалко... такое знакомство — и денег нет.

О н. Ты все о своем... Вот комплект журнала «Мир искусства»... Ну ведь чем-то он расплатится — и спасибо, всему будем рады.

О н а. А сам он какой из себя?

О н. Маленький-маленький на высоких каблучках и вежливый, тихонький... Дома — музей: картины, мебель, фарфор... Вертит огромными делами, связи на самом верху...

О н а. Вот как люди живут.

О н. Сказал, что им с женой очень понравилась моя работа.

Я, болван, подумал, что они книгу мою в самиздате прочитали, чуть не ляпнул... Но нет, ему нравится, какие я переплеты делаю... Личико маленькое, мизерное...

О н а. А жена? А что на жене?

О н. Жена... А черт ее знает... По лицу видно, что сука — наглая, злая... Что я, разглядывал ее, что ли?

О н а. Публицист, по лицу ему видно, а!.. Вот беда-то! Ты же ничего не видишь... Директор, жена... неужели не интересно? Поговорил бы, как живут, что думают... хозяева жизни... У них все есть? Они-то хоть счастливы? Ничего не увидел....

О н. Вот ты посмотри, о чем бы мы ни начинали говорить, мы тут же ссоримся. Если они нас слушают и записывают, это какая комедия запишется! Когда-нибудь ее прокрутят по радио. Диссиденты... неприглядное лицо отщепенцев. Обличительный документ страшной силы...

О н а (*кричит*). Да помолчи, скотина!

О н. Ты что? Ты... не надо так... Кругом все слышно... Я придумал! Поехали-ка мы завтра к Петьке Бабьегородскому на дачу. Поехали! Закатимся без звонка — и на целый день. Я знаю, он там сидит попой на стуле, пишет очередную нетленку. Мы ему помешаем... Потомки скажут спасибо, да он и сам будет рад... Поехали, ну, пожалуйста, поехали... Поехали — иначе мы здесь погибнем.

О н а. Поезжай... Как это у тебя все быстро получается: построил план, ту-ту... поехал.

О н. Ну да ведь надо куда-то поехать или что-то делать — ремонт, что ли, начать или уборку или спать лечь. Я не могу... Ты как-то выпала из круга жизни. Или напиться, что ли... Тебе налить?

О н а. Сиди. Ты все время мельтешишь перед глазами. От этого мелькания голова болит. Сиди.

О н. Да я сижу. Что дальше?

О н а. Ты шел домой, машину внизу видел? Они простояли целый день и теперь стоят.

О н. Ах вот оно что... Я совсем забыл, что ты чокнутая... Я же запретил тебе... Ну, стоят... А ты из-за этого на людей бро-

саешься. Я же говорил тебе, это не к нам. Я же говорил, не обращай внимания...

О н а. Так интересно же... Тебя нет, скучно, а они — вон, стоят... Давай купим подзорную трубу — мы будем знать их в лицо.

О н. Еще раз говорю: не подходи к окну, не показывай, что мы знаем. Не накликай беду.

О н а. Что мы знаем-то?

О н. Хотя бы свет гаси, когда смотришь... А сейчас мы ужинаем... Ну, подумаешь, машина стоит, два мужика сидят... Все те же два?

О н а. Сегодня три.

О н. Хорошо, три мужика... А мы ужинаем.

О н а. Три мужика и баба. Двое в машине, а двое вокруг прогуливались. Ты бы посмотрел, что за рожи — болотные, ржавые.

О н. Они в соседний дом, они там кого-то водят.

О н а. Стоят, кого-то ждут... Так же они ждали Регину, так же водили Скоробогатова... И к нам так же приедут...

О н. Приедут — и приедут, мы их увидим. Но мы ничего не можем изменить... Ты бы не торчала у окна... Посмотри лучше, у тебя помойка в квартире... Ты, милая моя, лентяйка — и больше ничего. Все это у тебя форма лени, повод ничего не делать и целый день лежать... Ты сама себе напридумывала страхов, чтобы бездельничать.

О н а. И прекрасно! Тебе-то что от меня надо? Живешь — и живи.

О н. Я и живу — в помойке. Дышать же нечем, всюду пыль. Пыль прямо комками лежит — в углу, в коридоре...

О н а. Это не пыль, это собачья шерсть... Твоя собака — возьми и подмети.

О н. А где собака? Ты и собаку замучила — кормить забываешь. Бедное животное... Чапа, ко мне! Чапочка...

О н а. Собаки нет. Ее мама забрала.

О н. О Господи! Твоя мамочка... я же просил... детей, собаку... Я же просил, собаку не трогать, собаку не трогать... Про-

сил или нет?

О н а. Собака заболела. Она стонет во сне, и мама хочет показать ее ветеринару.

О н. Твоя мама... ее саму нужно показать ветеринару.

О н а. Заткни хайло! Мы живем на мамину пенсию. Твоим детям жрать было бы нечего...

О н. Прекрасно! Собаки нет, и я буду гулять по вечерам один. Спасибо за ужин. Я пошел... Там дождик? Прекрасно. Где мой зонтик?

О н а. Где твой зонтик... Может быть, мама... Да вот твой зонтик.

О н. Чао! Заодно посмотрю, что за болотные рожи сидят в машине.

О н а. погоди... Я пойду с тобой. Я три дня не выходила... А правда, пойдем, что ли, — прогуляешь меня, как собачку. Дождь — моя любимая погода... Только сходи к соседям напротив, попроси сигаретку.

О н. Да никогда в жизни!

О н а. Сходи, а? Я выкурю сигаретку, и мы погуляем.

О н. Посмотри на часы.

О н а. Они не ложатся раньше одиннадцати. Сходи, а?

О н. Почему, почему мне всегда приходится выполнять какие-то твои унижительные поручения? У соседей никого нет, в окнах нет света. Ты зря собираешься курить — целый день ты сидишь в ужасном воздухе, плита включена, окна закрыты... от сигареты еще сильнее голова разболится.

О н а. У меня нечего курить.

О н. Если очень хочешь, у меня где-то была заначка.

О н а. Дай, пожалуйста.

О н. А потом ты опять свалишься с мигренью.

О н а. Дай, пожалуйста... *(Закуривает.)* Мне и самой надое-ло всё это... Я что-то плохо понимаю, как мы живем, как надо жить.

О н. Да как жить — пойдем погуляем, вернемся, попьем чаю с коньячком, ляжем спать и потеснее прижмемся друг к другу — так и жить.

О н а. Конечно, у тебя все есть. Ты живешь хорошо: где-то ходишь, с кем-то разговариваешь... книги, люди, сигареты «Кент»... А я сижу здесь, как в сарае, — дети, стирка, уборка, плита — свихнешься... Твоя рукопись под матрасом... Роскошный тайник нашел... Вот идиот. Хоть бы в кино посмотрел, в детективах: первое, куда лезут при о быске, — под матрас... Надо же, спрятал!.. У Регины детей обыскивали: пришла специальная тетка, раздела их донага — и детей, и саму Регину... У Скоробогатова крупу на кухне рассыпали — что-то в крупе искали... А ты — под матрас...

О н. А куда, по-твоему?

О н а. Не знаю, надо подумать.

О н. Вот интересно, я уже оделся, взял в руки зонтик, пошел... Но ты говоришь: «Стоп!» — и я остановился... стою... И так во всем.

О н а. Регину они избили перед арестом, а Скоробогатова, Ванечку Скоробогатова... просто убили в парадном... Я боюсь... я слабый человек, я боюсь... Я боюсь темноты, темных окон... шорохов на балконе... Я боюсь звонков в дверь... я вздрагиваю и смотрю в глазок и всякий раз боюсь, что пришли за тобой. Это жизнь? А когда ты уходишь с собакой, я боюсь, что ты не вернешься... я все время жду, жду тебя и думаю, если не вернешься, куда они денут собаку, где ее искать — а где тебя искать, я не думаю... А сны? Мне говорят во сне: всё, он убит... и я иду, тащусь или еду куда-то и жду, что вот за тем деревом, домом, поворотом я увижу тебя — то, что от тебя осталось, и знаю, что увидеть это — это конец... а просыпаюсь — и все продолжается — еще не конец... Регина... пара статей в эмигрантском журнале да письмо в политбюро — и три года... А тебе за твою книгу, уж, как минимум, влепят семь плюс пять, если вообще не прихлопнут в парадном или на улице... Зачем ты полез в это? Сидел бы в своей газете... Почему ты ушел из газеты два года назад? Никто не знал, что вышла книга. Тебя никто не увольнял, ты сам, сам поторопился. Ты говорил, что могут пострадать друзья. Теперь ты со значением заявляешь: «Мне пришлось уйти...» Рассказывай кому-нибудь. Ты бы и теперь спокойно работал. Но ты уже не мог. Ты подпрыгивал

от нетерпенья... Еще бы! Подумать, какое великое дело ты совершил; ты всю жизнь врал, врал, врал... и вдруг впервые сказал правду... вылез из дерьма и обрадовался... Всю жизнь ты был полным ничтожеством — и вдруг что-то удалось... Да ты просто взбесился от радости. Разве можно промолчать, что это ты, ты, ты такой смелый и талантливый? Пророк!.. А Регина говорила, надо было подписаться псевдонимом... Но ты — нет. Ты — пророк... Ты — пророк, а пророк не приходит под псевдонимом... За каждое слово пророк отвечает сам, и ты готов отвечать... Вот только я забыла, пророку полагаются жена и дети? Жена и дети за что отвечают? Я высчитываю копейки, чтобы купить детям горсть ягод или поношенные ботиночки... Ты нами расплачиваешься... Ты не пророк, ты эгоист, мелкий, тщеславный... Ты встал в позу, ты уже придумал сообщение: «Как передают западные корреспонденты из Москвы, здесь арестован...» Вокруг тебя сияние... ты говоришь стихами... А как же я? А дети?

О н. Ну что ты, миленькая, ну что ты, родненькая, ну не надо, остановись, успокойся, пожалуйста...

О н а. Я тебе тысячу раз говорила, не лезь, не успокаивай меня. Если бы я могла, я была бы спокойна и без твоих идиотских наставлений... Мы оторвались от той, знакомой нам жизни, а другой не оказалось.

О н. Ты пойми, псевдоним — бессмысленно: вычислить автора — пара пустяков... Мы же с тобой много раз обсуждали. Что опять?

О н а. Я знаю... обсуждали... Дай еще сигарету... Какая сила ума, ясность, логика, талант. Как все раскрыл, обнажил, показал... А мы?.. Да, это нечеловеческая система... но мы-то люди, нам в ней жить, в этой системе. Детей растить. Ты можешь что-то изменить? Кому чего ты доказал?.. Ребята приходили, восхищались. Ну повосхищались, пообсуждали, сколько тебе влепят за твою восхитительную работу, — и все, не ходят. У них свои дела, у тебя — свои.

О н. Ну не надо, дружок. Все будет хорошо.

О н а. Дай сигарету... Будет? Ничего не будет. Чего ждать? Как-то будущего не стало.

О н. Ну зачем ты так говоришь? Мои книги — это ваше будущее. Пойми, если меня посадят, там, за границей, это привлечет внимание к моим книгам — будут тиражи, будут переводы — будут и гонорары. Если меня посадят — это реклама... Я уверен, если меня посадят, вы будете хорошо жить, будете прекрасно обеспечены — ведь есть же каналы помощи, приходят посылки, люди оттуда приезжают... Ведь можно же...

О н а. Замолчи! Да замолчи ты, пожалуйста... Как ты можешь высчитывать? Это нельзя высчитывать... Ты не думай, что нам будет хорошо. Ты не имеешь права так думать. Мы подохнем, и ты идешь на это. Ты должен идти на это сознательно, должен понять, что ты нами пожертвовал... Может быть, тогда ты что-то поймешь.

О н. Как же я устал от твоих истерик. Мне нигде не страшно, мне дома страшно: скандал за скандалом... Ну что ты навалилась на Севочку? Ну да, он ничтожный, жалкий, может быть, он и стучит — даже наверняка стучит, стучит — и шут с ним совсем... А мне скрываться не от кого да и незачем. Я чувствую себя спокойно и уверенно... Но вот здесь, дома, я проваливаюсь. Мне не на что опереться, у меня за спиной пусто — тебя нет, я не прикрыт с тыла... И самое печальное, ты сама не понимаешь, что ты хочешь. Скажи, что, что?

О н а. Я хочу жить нормальной, спокойной жизнью.

О н. Книга вышла, дело сделано — что ты хочешь теперь? Чтобы я выступил с покаянием? Чтобы вернулся в газету? Что? Что тебе нужно от меня? Хочешь, давай уедем за границу. Нас выпустят, я уверен — нам даже предложат, как предложили Рыжему... Он уехал... Хочешь? Ты скажи мне, чего ты хочешь? Скажи, я сделаю.

О н а. Жить тихонечко, спокойно, чему-то радоваться.

О н. Живи... живи спокойно. Я тебя уверяю, что ни тебе, ни детям ничего не грозит — не больше, чем вообще всем в этой стране... Но ты должна понять, что книга уже написана. Написана — и вышла в свет, и это уже нельзя изменить.

О н а. Ой, да написал — и прекрасно. И живи. Не строй планы. Как получится, так и получится... До чего доживем, то и случится. Ты думаешь, что ты сам хозяин своей жизни, что ты

великий стратег, что ты всех переиграешь — ты готов: там тебя напечатают, здесь тебя арестуют, там поднимется шум, здесь появятся деньги... А семь лет? Или даже двенадцать? Ты к ним готов? Двенадцать лет день за днем, день за днем — да ты их не представляешь, эти д в е н а д ц а т ь л е т . . . Жизнь пройдет — день за днём... Ты храбрый такой — впрыгнул в эти двенадцать лет и выпрыгнул обратно, к нам, сюда, в эту жизнь. Герой-молодец. И мы прекрасно прожили эти годы, заморозились, застыли как есть и ждем твоего возвращения — ты вернулся, и все ожило, все по-прежнему: Танька маленькая, Даша все запоминает э т и х по именам... Да пойми ты, что пройдет жизнь. Дашка через двенадцать лет станет взрослой женщиной, а Танюша будет старше, чем Дашка сейчас... Ты готов, что они вырастут без тебя?.. А мне будет пятьдесят. Сразу. Жизнь утечет. Куда ты вернешься? Если вернешься... И ведь жить надо день за днем. И дети что-то должны понять, принять и пережить этот ужас. Они готовы? Сколько надо сил... Ты-то готов... а они? Маленькие, слабенькие... Мы должны быть готовы к этому несчастью. Осталось только одно: ждать этого несчастья. Я не могу с этим смириться! Я не могу думать, что впереди — только несчастье. Это выводит меня из себя. Я не могу! К этому надо как-то подготовиться, что-то еще понять... А ты лезешь, торопишься, выстраиваешь планы, надеешься обыграть...

О н. Знакомая философия: Лао Цзы в переводе Льва Толстого, твоя любимая книга «О пользе ничего-не-деланья», так она называется? Ты что-то совсем расклеилась. Будущего у нее нет... А настоящее? Настоящее у тебя есть? Или дети, я, твоя жизнь сегодня — всего этого нет? А может быть, подруга, ты просто лентяйка, и это главная причина, а все остальное лишь поводы... Помнишь, пока мы жили с моей матерью, ты говорила, что не можешь хозяйничать на чужой кухне? Мать уже давно умерла, и эта кухня уже давно твоя. Посмотри на нее: у матери был порядок, а у тебя?.. Ладно, дело не в кухне. Ты просто не желаешь крутиться. Мы живем на гроши, но сегодня утром я выкинул из холодильника рублей на десять протухших продуктов.

О н а. О, посчитал ведь!

О н. А ты посчитай... Ты говоришь, что тебе нечего носить, но моль жрет твою шубу... Ты за все берешься, но ничего не доводишь до конца. Вот твои игрушки... Когда я только заикнулся этому директору о твоих игрушках — только заикнулся — он сразу спросил: «Сколько штук? Сто, двести?» Он деловой человек. Это деньги, это дело, это отношения с людьми, связи — это жизнь; это, наконец, ягоды детям, ботиночки — новые, не поношенные, — это и тебе все, что нужно — и сегодня, и завтра... Но ты — нет. Ты не желаешь крутиться... О Господи, мне бы деловую бабу... У тебя нет будущего, потому что тебе не на что опереться в настоящем, да? Ты спрашиваешь, как жить в нашем положении? А как жить? Жить — это значит крутиться в любом положении, а ты крутиться не хочешь. Тебе лень. Ты встаешь в девять, в десять и плаваешь по дому... а по ночам читаешь... Утром Дашка ходит нечесанная до обеда. Хорошо, что ей во вторую смену, а то бы она и в школу ходила нечесанная и голодная; Танюшу ты вообще не умываешь... Тебе некогда, ты занята своими переживаниями...

О н а. Как же я тебя ненавижу, демагог проклятый.

О н. Правильно. Такая жизнь не дает и не может дать человеку удовлетворения. Ты злишься и срываешь зло на мне, на дочерях... Я тебе вот что хотел сказать: ты перестань срывать злобу на ребенке. Ты зачем каждый день lupишь Дашку?

О н а. Заткни свое поганое хайло! Это не твое собачье дело...

О н. Нет, мое. Девочка ходит постоянно в слезах... Я тебя предупреждаю, если ты при мне еще хоть раз до нее пальцем дотронешься...

О н а. Замолчи, подонок! Пророк вонючий... Пожалел, а?! Кто устроил всю эту жизнь? Пожалел, скотина.. Так же ты и меня в постели жалеешь, насильник поганый. Мне с тобой спать, все равно, что в помойку лазить.

О н (*явно напуган*). Что это, дружок, с тобой... Ты успокойся...

О н а. Отпусти мои руки.

О н. Я не позволю тебе драться.

О н а (*плюет ему в лицо*). Мерзость, мерзость...

О н. До чего же ты все-таки ничтожество. Тебе надо постоянно топтать всех вокруг — только тогда ты чувствуешь себя человеком.

О н а. Да, я ничтожество... Это ты меня сделал ничтожеством... Пусти, насильник, пусти, животное... Теперь растяни меня здесь и изнасилуй — это на тебя похоже... Ну, пусти, я успокоилась... Ты видишь, я спокойна. Пусти, мне больно.

О н. Я не хочу находиться с тобой в одном помещении. (*Уходит.*)

О н а. Иди, иди, и пусть они тебя прикончат в парадном!

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Через два часа.

О н (*входит на корточках*). Ку-ку!

О н а. Как ты меня напугал!

О н. Давай помиримся... ладно тебе, я виноват... Мир, а?... Дождь кончился, воздух свежий и какой-то тонкий аромат — где-то что-то цветет, не знаю, где и что... Открой окно, почувствуешь... Будем вместе переживать мое ничтожество.

О н а. Не вяжись... С какой стати я должна прощать твои мерзкие выходки? Тебе хорошо, ты погулял в скверике, подышал воздухом и успокоился... И хорошо. И сиди себе. А ко мне не лезь.

О н. Я ходил и думал, как это мы оказались у такой черты? Не понимаю. Разве жизнь не могла сложиться иначе? Надо сесть и подумать.

О н а. Тебе делать нечего — вот и подумай... Ты унес сигареты.

О н. Увы, ты все выкурила — там было всего две или три, я выбросил пачку... Хочешь, я пойду разбужу соседей или на улице у кого-нибудь стрельну?

О н а. Сиди, у меня остался большой чинарик и два коротких в пепельнице.

О н. Прекрасная мысль: небольшая уборка... Люблю работать в полночь. (*Включает радио.*)

Звучит тихая музыка.

А знаешь, что делают эти, в машине? Они пьют и тискают свою девку. А может быть, и вовсе разложили ее на заднем сиденье.

О н а. Ой, да перестань!

О н. Нет, правда. Ты ничего не понимаешь, ты идеалистка. Я же слышал, я проходил мимо и слышал, женский голос сказал: «Дайте мне пива — запить». А когда шел обратно, там была какая-то возня и та же дама произнесла очень томно: «Саня, ты дьявол...» Понятно? Убедилась? Это не за нами.

О н а. Да я знаю, что не за нами... Смотреть за ними интересно: детектив. Вот они, легендарные герои ВЧК... Эти не за нами, будут и за нами. Скоробогатова такие же и убили — в подъезде бутылкой по голове.

Музыка постепенно затихает.

Звучат сигналы точного времени.

Голос диктора: «"Голос Америки" из Вашингтона. Передаем выпуск последних известий...» И тут же включается мощная глушилка.

О н а. Выключи, все равно ничего не услышишь.

О н. Да хоть два слова разобрать... Би-би-си — тоже глухо... Может быть, в мире что-то важное произошло — ишь, как плотно все перекрыли... От этих глушилок попугай на кухне начинает биться в клетке... *(Выключает.)* Тишина, хорошо... В тишине займемся уборкой?

О н а. Занимайся.

О н. Эта тряпка когда-то была моей любимой рубашкой.

О н а. Постирай — я поглажу, и носи на здоровье. То, что сейчас на тебе, ничуть не лучше.

О н. Книги, книги... сколько же пыли на книгах. Половину надо загнать... Мои бедные родители всю жизнь покупали, покупали книги — история, социология, философия — хотели, чтобы я был умным, свободным, надеялись, что хоть я пойму что-нибудь в этой нашей жизни — пойму, им расскажу... Я понял. Понял? Я ведь что-то понял?

О н а. Понял.

О н. А они умерли... Ну и давай загоним эти книги. Клиент ищет энциклопедию Брокгауза — давай продадим нашу: ну за чем нам восемьдесят шесть томов, а он хорошо заплатит.

О н а. Не трогай, пожалуйста, книги. Уж если совсем припрет... Как мне все надоело, я так больше не могу... Когда мы сделаем ремонт? Когда у нас будет десятка — купить шкафчик на кухню? Когда мы выбросим эти зассанные матрасы и купим детям новые кровати? Что же мы за несчастные люди. Я уже не могу видеть эти тряпки на окнах, засаленные обои, облупленные стены... Ты помнишь, что это за пятно в углу? Здесь

лежал твой парализованный папа... три года... он лежал, уткнувшись лбом в стену — это была его любимая поза... А эти брызги на обоях? А эта тахта — протертая, продавленная... Ну, я еще могу понять, почему у нас сейчас нет денег, но почему раньше-то мы были нищими? Мы были нищими и тогда, когда оба работали и зарабатывали не хуже других. Всегда только-только, всегда тянулись, тянулись... Всегда стоишь, высчитываешь перед каждой тряпочкой, перед каждой вещичкой... Почему?... Живем... Дети — нищие, я — старая, злая, нищая баба.

О н. Да... надо бы включить пылесос — ночь, боюсь разбудить соседей. А без пылесоса — не уборка.

О н а. Тряпки старые, колготки дырявые выкинуть страшно — вдруг пригодятся. И складываю, и складываю... Психология нищеты — и понимаю, а выкинуть не могу.

О н. Нишета... ты нищая!.. А вокруг? Все тянутся в ниточку: или подрабатывают, или подворовывают, спекулируют, берут взятки... кто как может... Закон социализма: не украдешь — не проживешь.

О н а. А мне наплевать. Воровать? Вору: у тебя дети... Да и воровать не обязательно. Вон Бабьегородский написал пьесу, где старушки молятся на портрет Ленина, — всем театрам велено поставить. А ты что пишешь?

О н. Бабьегородский врет — ты хочешь, чтобы я тоже врал?

О н а. Соври, если иначе заработать не можешь.

О н. Старушки! Пожалуйста, у меня в книге те же самые старушки — и тоже на портрет Ленина молятся. Да мы их вместе и видели, этих старушек, — и ты была с нами, помнишь? В той деревне, в очереди за хлебом.

О н а. У тебя! У тебя в этом месте реветь от тоски хочется. Я сразу вижу и эту очередь, и лица старух... и запах кислый... А у Петьки очереди нет. Сплошной праздник. Никакой нищеты. Музыка... Так он и получил тысяч десять, а ты что получишь? Лагерный срок? Психушку?... Когда в прошлом году Петька привел своего сына, мне было так жалко наших замарашек, так стыдно за них, что я готова была их под кровать спрятать... Вошел заграничный принц в таких одеждах... и наши стоят — в

платьницах из сиротского приюта...

О н. Слушай... все-таки... тогда, двенадцать лет назад, почему ты ушла от Бабыгородского?

О н а. Отстань ты от меня со своим идиотизмом, не вяжись ты ко мне. Что за беда такая?

О н. Все-таки надо было пройтись по воздуху... дождь, аромат... Ночь — это время свободы... После дождя такие небеса раскрылись — за рекой космическая панорама.

О н а. Куда же девать твою рукопись? Заморозим?... Надо как-то завернуть... Пожалуй, вот так вот ничего. (*Прячет в морозильную камеру холодильника.*) Вот и все.

О н. Ты гениальная баба. Я без тебя — ноль... Рюмочку налить? Улыбнись... Хочешь, я начну резать обои?

О н а. Завтра ты поедешь и заберешь детей. Что-то мне не нравится танюшина ангина. В прошлом году у Дашки точно так же скарлатина начиналась.

О н. Ты к полуночи приходишь в себя — и похорошела, и помолодела.

О н а. А правда, ночью в тишине и настроение другое... Только я устала очень... Что такое о б о и? Обои — это несбывшаяся мечта всей жизни... Уже и не сбудется... Тебе этого все равно не понять: ты был сытым ребенком. Вон с папой на футбольном матче, с мамой на Рижском взморье... И обои в доме всегда были аккуратно поклеены... Да уж не трогай, я этими фотографиями закрыла дыры в стене... А я мечтала о своей комнате, чтобы можно было поклеить обои и чтобы независимой быть... Как-то все не удается... Когда отец спился, мы с матерью скитались по актерским общежитиям — общежитие в Тамбове, общежитие в Ростове, общежитие здесь, в Москве... Я выросла в общежитии, и нам всегда кого-нибудь подселяли или нас куда-нибудь подселяли. Мы жили за занавеской: вот так мы с мамой, а за занавеской — другие люди... чужая жизнь... и единственная возможность остаться одной — лечь и с головой укрыться... Говорили шепотом, только скандалили громко... Помню чужую спину, обтянутую занавеской... спина как-то вдавалась в наш угол... шевелилась, ела, вставала, ходила, садилась, кашляла... и я смотрела на нее с не-

приязнью: она занимала часть нашего угла... она вела себя бесцеремонно... Я и близко-то от занавески пройти боялась, чтобы не шелохнуть...

О н. Когда ты рассказываешь о своем детстве, мне хочется спрятать тебя где-нибудь за пазухой и отогреть, как воробья. Помнишь, ты рассказывала, как мамин любовник обокрал вас в дороге, и вы побирались на вокзале — сколько тебе было? Лет восемь? Девять?..

О н а. Двенадцать... Мы не сразу побирались... Мы тогда долго на вокзале ходили. Мама то к одному выходу бросалась, то к другому, то на площадь вокзальную выходила — все думала, что он нас потерял, разминутся... И уже несколько дней прошло, а мы все его ждали, и на лавках спали у самого прохода, чтобы он нас не прозевал случайно, если придет искать... «Он не мог так поступить, — говорила мама, — он как-то разминутся с нами». И мы ждали. И не ели все эти дни. Не на что было. Он и мамину сумочку уволок. Все уволок... И вот на четвертый, что ли, день мама посмотрела на меня и говорит: «Я попробую у кого-нибудь попросить для тебя еды». Мне так стыдно стало, так жутко, я так умоляла маму не просить, я говорила, что еще долго могу терпеть, только не надо просить... Но мама сказала: «Ты сегодня обязательно должна поесть...» Сама она только курила. Я ей окурки на площади около лавочек подбирала, она их ссыпала в обрывок газеты, сворачивала сигарки... они у нее тут же разваливались... И вот мы увидели у окна славную такую тетку, сидела она спокойно и ела, платок развязала, хлеб у нее, сало, огурцы были. Она так ножом аккуратно резала, неторопливо. Мама интеллигентным голосом спросила: «Не занято у вас?» Села напротив и стала смотреть. А глаза у мамы такие страшные, жалкие — я хоть и не видела их тогда, но знаю я мамины глаза, знаю, какие они были... И мне так стало жалко тетку бедную. Она ведь сначала поглядела на маму легко, с интересом, а потом уже старалась не глядеть и есть стала неуверенно, и не знала, куда деваться... И все это тянулось как-то очень долго, и мне показалось, что мама уже не попросит, но она подалась вперед и просительно произнесла своим интеллигентным голосом: «Простите, пожалуйста...» И

я сразу ушла. Уже так стыдно стало... Весь проход был пустой — только мы и тетка... Но я быстро вернулась, думаю, что же я маму одну в таком позоре бросаю. А тетка уже сумки свои собирает, увязывает быстро так. И ушла, как от заразных — бегом. А на подоконнике оставила кусок хлеба большой и огурец. Хлеб мягкий оказался, и я его как-то сразу съела, а огурец — горький, и его доедала мама, но так и не доела — такой он был горький... Тетка, оказывается, и копеечки какие-то дала... Мама обрадовалась, и мы стали побираться...

О н. Я, может, и полюбил-то тебя за твои рассказы о детстве.

О н а. Что толку, дай лучше три рубля на чулки... Плесни-ка мне еще... Кажется, скоро светать начнет, а ведь нет еще часа ночи... А правда, хорошо-то как... тишина... Заварим крепенького чаю...

О н. Регина была права. Она говорила, что тебя нужно каждый день привязывать к стулу и отпускать только тогда, когда ты расскажешь что-нибудь о своем детстве.

О н а. Да я у тебя баба, конечно, не глупая и не бездарная... только вот хозяйка никудышная. Я ничего не успеваю: гора немытой посуды, гора детского белья... колготки танюшины никак не соберусь заштопать...

О н. Да нет же, ты прекрасная хозяйка... ты очаровательная женщина и прекрасная хозяйка... Но ты немножко устала. Я тебе помогу. Тебе надо отдохнуть, куда-нибудь выбраться... И перестать смотреть в окна.

О н а. Какой же ты все-таки долдон.

О н. Просто ты меня не любишь.

О н а. А за что тебя любить? Я маленькая, слабая, неуверенная, и ты — как кувалда... Вот невезуха-то в жизни... Ты говоришь, работай... Я бы, может, и работала — писала бы, игрушки бы лепила, — но мне нужна поддержка, внимание, ласка... Я и так-то во всем сомневаюсь. Ты бы лучше посомневался со мной, мне бы легче стало... Но куда там! Тебе всегда все ясно, и ты прешь, и прешь, и прешь; ошибся, развернулся — и попер в другую сторону... И все даешь советы, советы, советы... Ты просто раздавил меня. У меня никогда не хватало сил сопро-

тивляться твоему долдонству... Может быть, ты и великий мыслитель, но все, что ты пишешь, все так же прямолинейно. Ты не даешь читателю посомневаться. Ты хочешь пробить лоб читателю... а ты его приласкай, пожалей... читатель-то — человек слабый... Я все время чувствую себя твоим читателем... Хочешь, я подчеркну все те места, которые, как мне кажется, должны быть прописаны, проговорены, подчеркну все то, что нужно еще объяснить?

О н. Послушай, подруга, а что это... ты мне какие-то гадости говорила? Да? Прямо-таки вспоминать страшно... Было?

О н а. Ну и говорила. Я баба злая... А ты терпи, не взбрыкивай.

О н. Чего ж ты, моя бедненькая, злая-то?

О н а. А жизнь такая... Устала... Денег нет, муж долдон... Вот и сейчас — что лезешь к человеку? Если бы ты хоть что-нибудь смыслил, — ты бы понял, что, когда женщине под сорок, она не может хорошо себя чувствовать в кофточке, перешитой из шерстяных кальсон твоего покойного папочки... Сегодня утром соседка из квартиры напротив приносила английское платье — ей нужно срочно продать... Ну что, я примерила, посмотрела в зеркало... и заревела. Стою и реву, как дура... на платье накапала... Смеешься... тебе смешно...

О н. Какие же мы с тобой слабые, ничтожные... Платье... Истины жаждем, ищем смысл жизни, стремимся вверх, вперед... и вдруг видим: платье не такое... И все. Где там истина? А вот она, истина: надо было сидеть в газете, сидеть в твоём журнале и зарабатывать на английское платье.

О н а. Надо было сидеть. Я всегда тебе говорила: надо было сидеть, надо было копить... А теперь что остается?.. Мама все удивляется, почему мы не уезжаем, почему не пытаемся эмигрировать, на что надеемся? А правда, странно... Ну, рвались бы мы на Запад, нас бы не пускали — все было бы понятно: мы — пленники, мы стремимся к свободе... таких много — уповают на лучшую жизнь... А мы с тобой к чему стремимся, на что уповаем? Тебя посадят или убьют, я умру... мать стара, детей заберут в детдом... Ради чего все это? Весь этот ужас? Она спрашивает, а я говорю какие-то глупости, что я здесь роди-

лась, что здесь моя родина, что я привыкла здесь и у меня нет стремления уехать... Но я же чувствую, что это не так. Я знаю, уехать нельзя, но почему? Здесь нужны какие-то другие слова, особенные... Может быть, я до них не доросла или боюсь, что она их не поймет... Или вообще эти слова нельзя произносить вслух... Не доросла, не доросла... Конечно же, мы не доросли до настоящих слов.

О н. Да нет же! Ты все правильно сказала: мы здесь родились, мы русские люди, мы воспитаны русской историей, русской литературой. Мы — часть этой жизни. Почему же мы должны откалываться и уезжать?

О н а. Нет, нет, нет... Пустые слова, все не то... до настоящих мы не дожили... Как мы живем? Наше состояние промежуточное... Еще нет ни обысков, ни следствия, ни даже угроз — и эти в машине не к нам. Их внимание направлено на соседний дом. Я видела... Когда они приедут к нам, когда это будет, это будет другая жизнь. Мы знаем, что так бывает — по рассказам, вернее, по пересказам через третьи лица и по литературе — и знаем, что так будет. И мы примеряемся к этой грядущей жизни, ждем ее, не хотим... или хотим?... молим о том, чтобы она, та жизнь, подольше не наступала... И мы только-только отошли от жизни прошлой, обычной, знакомой, где все ценности, все связи понятны с детства и общеприняты — и понятны заботы, волнения... Мы — люди той, прошлой жизни... Мы хорошо знаем ту жизнь... Она нам не нравилась. «Разве это жизнь, — говорили мы, собираясь с друзьями на кухне. — Какая нищета, какая скудость, какая ложь кругом — унижительная, смешная ложь... Главное — ложь... разве это жизнь?» Но все-таки это была жизнь — пусть неполная, скудная, но теплая и спокойная; пусть нищая, но теперь-то мы видим — теплая и спокойная, без прямой и неотвратимой угрозы, что проломают череп, что придут десять человек... представь только — десять чужих, в плащах, с лицами, с чужими глазами — все перевернут, обыщут девочек... а девочкам после этого жить и расти и радоваться предстоит — как? Как они будут жить?... И мы смотрим на это еще из прошлой жизни. И страшно... И все наши понятия еще в прошлой жизни, и желания — там... А впе-

реди, может быть, и высоко, прекрасно, необходимо — все так... но страшно-то как! И все примериваешься, а если бы этого не было — не лучше ли? Но ведь живут же люди без этого! Живут же люди, как все... Мы-то что на себя взвалили... На себя, на детей... Детям-то как жить? У Дашки спросили в школе, что в небе летает? Она говорит — ангелы... Все дети кругом — самолеты, ракеты, спутники, а она — ангелы... Скандал! Учительница меня вызвала. Я говорю, ну что же, ангел — это хорошо, ангел — это направленный свет любви... Она на меня глаза выкатила, говорит: «Крестик у ребенка надо снять или, в крайнем случае, зашейте его в маечку. Ей в пионеры вступать...» Учительница права... зашить в маечку? А что я Дашке скажу? Ей-то все равно, она несмышленная... Но этот крестик в маечке — это такое унижение, такая обидная покорность... И перед Дашкой стыдно, она это почувствует... Но я же не могу сражаться ребенком, я же не могу ее подставлять... Зашила в маечку.

О н. В нашей жизни что-то нужно менять... Давай купим тебе английское платье. Ты будешь в нем, как Маргарет Тэтчер, — ты всегда хотела быть умной женщиной.

О н а. Да ничего подобного! Я всегда хотела быть миленькой, хорошенькой, красиво одеваться, весело жить — весело и беззаботно...

О н. Да, мы живем какой-то немзыкальной жизнью.

О н а. Я всегда хотела жить благополучно... Ты способный, мог бы сделать карьеру.

О н. Какую карьеру — до этих? Как я смотрюсь среди них?... Нет, нам не хватает веселья и музыки, вот чего. Бедность должна быть музыкальной, веселые нищие... а мы зажатые, несвободные. (*Берет гитару.*) Я тихонечко, чтобы не разбудить... (*Наигрывает.*)

О н а. Почему же обязательно среди этих? Живут же люди вокруг — прекрасные, светлые, замечательные люди. Живут и творят добро. Активно, деятельно... вопреки всем этим... Ты был журналистом и ты знаешь, с каким трудом дается каждое доброе дело, как трудно каждую малость проталкивать, пробивать; ты же знаешь, что целую жизнь приходится тратить,

чтобы пробить, реализовать хоть самую малую частицу добра, истины, здравого смысла. Ты же все время писал о таких людях, защищал их от всякой сволочи, от бездарности, пытался помочь... Разве это не достойная жизнь? Ну и продолжал бы... Карьеру, может, и не сделал бы, да черт с ней, с карьерой, зато жили бы спокойно...

О н. А куда девать то, что я понял?

О н а. Все понимают — девают же куда-то свое понимание, не лезут с ним.

О н. Я исследовал систему — куда это девать?.. То, что я написал книгу, ушел с работы — это следствия. Главное — я исследовал систему, понял ее, до конца додумал... Сколько мы с тобой говорили об этом — сколько раз!.. и ты снова и снова... Я не врач, не учитель — а то бы, может, так не вылезал, сидел бы на своем месте, делал бы свое дело... Я — журналист, публицист, мое дело — говорить, и если я что-то понял и не скажу — что в моей жизни проку? Это моей жизни, моего темперамента — мое дело. Я сделал его, как смог — почему я должен делать его хуже, чем могу? Это унижительно. Почему я не могу додумывать то, что могу додумать... почему я не должен писать то, что могу написать? Почему я не могу сказать то, что мне вполне понятно? Если я — журналист, если я — публицист и если я что-то исследовал и что-то понял, почему я должен об этом молчать?.. Свой крестик я куда зашью?

О н а. Что толку — исследовал, додумал, сказал... Раньше ты мог высказаться в газете — тебя читали, обсуждали. Пусть там все было куце, вот такая вот правдочка, но она до всех доходила, всем была доступна и всем нужна... И всегда была надежда, что через год можно будет сказать еще чуточку побольше... Но вот ты все высказал сразу. Вот твоя большая правда. *(Включает приемник. Мощный звук глушилки... Кричит.)* Слушай, слушай! Может быть, это читают твою книгу, твою правду...

О н *(выключает)*. Чепуха... Слово нельзя заглушить. Его хоть в могилу спрячь, оно тростниковой дудочкой заиграет. *(Играет на гитаре, поет.)*

О н а. Да я знаю, что не умрет... Жить-то как?.. Я заварила

чай с травкой... Как ты это делаешь? Когда ты поешь или танцуешь, я готова простить все твое долдонство. Как жалко, что Дарья не в тебя — будет такая же, как я — неуклюжая. Может, Танюша вырастет пластичной: она все поет и танцует.

О н. Пожалуйста, теперь немного подвигаемся... Потанцуем... Нет, кисти посвободнее, локти поближе, вообще руки освободи... ноги чуть согнуты... это единое движение... вот так... Какая ночь! Ты — как Золушка на балу.

О н а. А может быть, все-таки продать Брокгауза? Или что-нибудь заложить в ломбард? Что у нас осталось такого? Мою шубу? Ведь это ничего, мы ее выкупим, я заработаю... Я закончу игрушки — тут как раз рублей на двести...

О н. Ах, как же я танцевал в тот вечер, когда мы с тобой познакомились и когда я отбил тебя у Бабьегородского... Это было какое-то молодежное кафе, да?

О н а. Ужас! На тебе была какая-то красная рубаха, и тебе казалось, что ты ослепителен.

О н. Я был бешено влюблен. Никогда больше я так не танцевал — ни до, ни после. Я вложил в этот танец всю свою страсть к тебе.

О н а. Ну, ну, ну... понесло, понесло... Когда ты танцевал, мы были едва знакомы. Ты же за Анькой приударял... Смотри-ка, все те же люди, кто тогда был? Регина, Бабьегородский, Рыжий, Севочка, Анька...

О н. Точно, точно. Это был тот вечер, когда ты съездила по роже бедному Севочке. Я до сих пор помню его красную физиономию, и спуганного Петечку... у Регины, по-моему, сделалась истерика, а Рыжий хохотал во все горло... Ты говоришь, кто еще там был?

О н а. Не делай вид... Анька... Ах, какие у нее были глаза! Вот такие вот огромные серые глаза... Только фиг она на тебя внимание обращала. Он уже тогда нацелилась на Петечку — знала, на какую лошадку ставить.

О н. А ты?

О н а. Я не понимаю, ты что, хочешь напоить меня, что ли?

О н. Ах, миленькая, мы с тобой так редко сидим. Ты так редко смотришь на меня добрыми глазами.

О н а. Ты здесь не при чем. Покупай почаще хороший коньяк.

О н. А ты... ты на ту лошадку поставила?

О н а. Из нас двоих лошадка — я. Это ты на меня поставил, и я повезла... Ты видишь, сколько я везу на себе? Я еще не старая кляча?

О н. Ты удивительно хороша — особенно, когда улыбаешься. Улыбка совершенно преображает твое лицо... Ты — мадам Улыбка... Выпьем, и ты мне улыбнешься... Вообще напьемся, как в тот вечер, когда ты бросила Бабьегородского.

О н а. Да нет же... как-то все у тебя... его бросила, тебя подобрала. Это тебе все просто. Стала бы я жить с тобой, если бы так легко от одного мужика к другому... Только бы ты меня и видел. Нет, я задолго ушла.

О н. Хочешь, я сам скажу, почему ты его бросила?

О н а. Тебя никто не просит.

О н. Если бы осталась, ты бы просто спилась.

О н а. Перестань!

О н. Что такое твой Петечка? Комсомольский поэт, комсомольский драматург...

О н а. Ну что за бабские выходки!

О н. Нет, нет, ты послушай... Он, конечно, добрый парень, но... какой он писатель? Так, зарабатывает человек, чем может.

О н а. Высказался? Ты злой и завистливый. Как ты можешь? Ты, ты... у нас с тобой даже выпить не на что... Зато сейчас я бы ездила на зеленом «Мерседесе», как Анька ездит.

О н. Сейчас бы ты ездила на инвалидной коляске. Ты бы давно уже спилась от тоски. И Петечку бы утопила. Вы бы оба спились — и ты, и он. Петечка слабый, а ты баба въедливая, сильная... Да, да, не маши руками, сильная... К тому же, он любил тебя без памяти. Он совершенно раскис. Он был в отчаянии, у него тряслись руки. Он совсем не мог работать: ты его задавила. Что бы он ни писал, ты смеялась над ним, ты на все говорила, что это полное говно, что он сам — полное говно. Говорила или нет? И делала такое вот презрительное лицо... Собралась парочка! Тебя тошнило от его вранья, ты чуть не

спилась от этого, а он, горемыка, органически не способен говорить правду, да он и не знает, что такое правда. И тоже чуть не спился от отчаяния... Нет, милая, ты не уважала Петечку, и он, бедненький, перестал уважать себя. Еще бы немного, и на обоих можно бы ставить крест... А теперь? Театральная афиша пестрит петиным именем. Своим враньем он заполнил все подмостки страны. Освободился... Сначала купил дачу, потом «Мерседес», теперь вообще может позволить себе менять жен, менять машины... Так что скажи спасибо, это я вас обоих спас.

О н а. Ты спас! Постыдился бы говорить. Оглянись вокруг: это спасение?

О н. Спас, спас... Что бы ты ни говорила — спас.

О н а. Сегодня нужна инвалидная коляска — сегодня ты меня спаиваешь.

О н. Ах, подруга, если бы ты умела почаще расслабиться, это было бы совсем неплохо... Выпьем?

О н а. Спаситель нашелся... Ты-то тут при чем? Если хочешь знать, я тебя в тот вечер вообще не заметила — так, танцевал там какой-то хмырь, кривлялся — и все... Я влюбилась вовсе не в тебя...

О н. Ты влюбилась в меня.

О н а. Да ничего подобного!

О н. Ты влюбилась в меня и той же ночью стала моей женой.

О н а. Я влюбилась не в тебя, а в твою Регину. Какая баба! Я в нашем болоте никогда таких не видела: красивая, умная, свободная. Главное — свободная. Это удивительно: она образует вокруг себя какое-то поле свободы. Я потом и здесь уже много раз проверяла — точно, она всегда на меня так действовала: она приходила, садилась вот здесь в кресло и улыбалась... и все. Ты видишь ее и понимаешь: вот человек, который может все, и чувствуешь, что рядом с ней ты тоже все можешь... Дурак, почему ты на ней не женился?.. И тогда в кафе я вдруг почувствовала, что все могу. Все!

О н. Тебе холодно?

О н а. Оставь... А ты... что же ты... ты был где-то около Регины.

О н. И все-таки ты уехала со мной.

О н а. Не с ней же мне уехать.

О н. И все-таки ты уехала со мной.

О н а. Уж не вспоминал бы этот кошмар. Ты напоил меня и увез, и привез сюда: в той комнате лежал твой парализованный папа, за стеной храпела мама... Очень нежные воспоминания... Потом, когда я как-то кормила твоего папу протертым супом, он с гордостью сказал мне, что не спал в ту ночь, слушал, как мы замечательно любили друг друга... Подохнуть можно: л ю б и л и... Хорошо, что твоя мама спала, а то бы это был уже большой спектакль, и они могли бы обменяться впечатлениями.

О н. Я не люблю, когда над этим смеются.

О н а. А если вспоминать всерьез, умрешь с тоски.

О н. Но ведь были же у нас и хорошие времена, ты не можешь отрицать.

О н а. Это было так редко, что я не помню.

О н. Особенность твоего обиженного сознания — помнить только плохое.

О н а. Опять публицистика.

О н. Прости меня... Я в последнее время очень чувствую свою вину перед тобой... Я тебя очень люблю... Мне очень повезло в жизни...

О н а. Да, конечно, я баба неплохая.

О н. Нет, неплохая — это ничего не значит... Я очень хочу, чтобы ты улыбалась, чтобы у тебя было все хорошо в жизни, но я не знаю... так получилось... Когда Петька впервые прочитал мою книгу, ты помнишь, что он сказал? «Ну хорошо, ты — самоубийца, это я могу понять... но что же ты, гад, о жене и детях не думаешь?» Я тогда все это мимо пропустил... Я никогда не сомневался, что я прав — ни когда задумал книгу, ни когда писал, ни когда решился опубликовать — прав! И теперь уверен: прав!

О н а. Ты везде и всюду прав, ты перед всеми прав... ты только здесь, перед нами не прав... Смотри-ка, совсем рассвело... задерни шторы — мне не хочется, чтобы начинался новый день, ну его...

О н. Но мне только одно очень горько, ты меня не любишь.

Хотя я понимаю.

О н а. Ну что ты, миленький, как ты можешь так говорить... Я прожила с тобой двенадцать лет, родила двух дочерей... Как ты можешь так говорить? Только мне трудно представить, как это я буду одна здесь ходить... от окна к столу, от стола на кухню... а тебя нигде не будет... сколько — семь лет? двенадцать? всю жизнь?

О н. А ты правда ко мне хорошо относишься?

О н а. А куда же теперь деваться?

О н. Какая же ты женственная...

О н а. Как я постарела за последние два года — ужас! А хотя что же, тридцать восемь... кошмар!

О н. Разве это много? С тобой я этого никогда не чувствую.

О н а. Перестань... вон как поседела.

О н. Ты удивительная красавица.

О н а. Просто ты меня любишь.

О н. А тебе хорошо, что я тебя люблю?

О н а. Да, конечно, а что бы тогда вообще осталось?.. Мне бы только одеться хоть немного, платьице какое-нибудь... Только у меня титек слишком много.

О н. Было бы меньше, я любил бы другую женщину.

О н а. Не ври. Куда б ты делся?

О н. Никуда... Если бы я не был женат на тебе и сегодня встретил бы тебя на улице, я сразу бы влюбился и сделал предложение. Пойдешь за меня замуж?

О н а. Да никогда! Тебя посадят, я умру от горя, девочек заберут...

О н. А если мы завтра поклеим обои?

О н а. Поклеим обои, купим платье, повесим шкафчик на кухне и... и что-то еще, я уже не помню... постирать тебе любимую рубашку.

О н. Давай пораньше встанем, чтобы все успеть.

О н а. Подумать только... Давай.

О н. А поэтому ляжем пораньше, а?

О н а. Ты полагаешь?

О н. А почему ты смеешься?

О н а. А у тебя очень смешной вид. Глаза такие жалкие-

жалкие. Мне же тебя жалко... Только выдери телефон, а то вдруг включится, и задерни шторы поплотнее.. И сядь, посиди еще немного, допьем... И ты мне расскажешь что-нибудь про директора гастронома — он у тебя славенький, он мне нравится... Сядь, посидим еще...

Конец второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Наутро.

Он (громко). Телефон включили!... (Набирает номер.) Десять часов семнадцать минут... Какой день! Солнце светит, телефон работает, кажется, горячую воду дали... Попугай-то соловьем, соловьем вышелкивает!.. А кто к нам приходил? Или мне показалось? Я как бы слышал звонок в дверь, но не проснулся... а потом мне приснился какой-то кошмар... Эй, послушай, давай уедем отсюда. Ну их всех к едрене фене. Давай уедем в Америку, в Израиль, в Новую Зеландию, хоть на острова Паумоту — куда-нибудь... И будем жить. Без страха, без проблем — будем просто жить и наслаждаться жизнью... Разве это мало — просто жить и наслаждаться жизнью?

Она выходит из ванной.

Господи, ты ослепительно хороша. Скинь халат, я за ночь не нагладелся.

Она. А это не стыдно — в нашем возрасте, и так вот...

Он. Ты слишком много думаешь, что стыдно, что не стыдно. Это всегда мешало... Десять часов семнадцать минут — будем спать дальше... Вообще отбросим все дела и целый день будем спать, спать....

Она. Увы, сейчас ты пойдешь за детьми.

Он. Но ты же сегодня потрясающе хороша.

Она. Ах ты миленький... Всё... Отстань... Свари лучше крепкий кофе... Что ты здесь говорил? Что такое Паумоту?

Он. Ничего. Когда ты ласкова, мне ничего в жизни не надо. Если бы так всегда, я бы и писать перестал... У меня же звериное обоняние... О, как ты сладко пахнешь...

Она. Заговорил, заговорил... Помой лучше пол на кухне.

Он. Поговори со мной...

Она. Терпеть не могу эти разговоры.

Он. Но почему?

Она (после некоторой паузы). А что толку говорить? Все

равно ничего не поймешь... Ты — глухарь, токуешь один и ничего не слышишь... Ополосни-ка чашки, меня что-то уже с утра ноги не держат.

О н. Кто-то приходил или мне показалось?

О н а. Приходила мама. Танюша удачно пописала в горшочек, и мама принесла анализ.

О н. Как это трогательно. Мне идти в поликлинику?

О н а. Да нет, я сама. Анализы принимают до десяти, но ничего, бутылочку я поставила в холодильник, может, и позже удастся сдать... Не могу... Мне идти в детскую поликлинику, а у меня при одной мысли в мозгу начинается спазм. Ждешь: обхамят, обругают... и ничего от них не добьешься... У Таньки хронический тонзилит, а наша врачиха говорит: «Девочка что-то не то съела...» Помнишь, в прошлом году Дарья болела scarлатиной — это было всем очевидно, а у них записано — простуда. У ребенка шелушение, а врачиха твердит: «ОРЗ». Танька почти месяц у бабушки — забирать, не забирать? Как дезинфекцию делать? ОРЗ — и все тут... Только уж когда из платной поликлиники вызвала, добилась... Приехала старушка-доцент — точно, была scarлатина, — все рассказала, объяснила...

О н. Офонареть можно! Ну что мы здесь сидим? Давай уедем... Ну что мы сидим, из последних сил напрягаемся, вся жизнь уходит на то, чтобы не подохнуть с голоду, чтобы тряпку купить, чтобы хоть как-то продержаться. Переплетное дело... меня уже тошнит от запаха клея... Разве я с моей головой... Мы же молодые люди. Да если бы я каждый день мог бы с утра садиться за письменный стол и работать до вечера — и ничего другого! — как я хочу, как мечтаю... да что такое две книги за пять лет! — да я бы в год по две такие писал. Ведь у меня голова на плечах, машина — и неплохая, скажи? А то ведь так жизнь и пройдет... А дети? Это хорошо, что они вырастут здесь, с этими учителями, в этой лжи? Они простят, что мы с детства заставляем их врать или применяться к чужому вранью? Когда они вырастут, они простят нам, что мы не уехали, их не увезли?.. А ты? Ты еле тянешь, тебя здесь надолго хватит? А если и впрямь что-то случится со мной, с тобой?..

Ну ладно бы еще моя работа, кто-то читал бы здесь мои книги, кто-то прислушивался бы, кому-то я был бы нужен... да нет же! Пять, десять человек — и все! Зачем людям моя правда? Им завтра с этой правдой на ту же работу идти, на тех же партсобраниях высиживать... Куда им мое слово?... А я?... Ведь голова-то работает, ее не выключишь... Давай уедем. У меня замыслов до конца жизни хватит. Сиди и пиши... Найдем где-нибудь тихое, скромное место... Уедем, а? Я скажу Севочке, что мы хотели бы уехать, и я уверен, через месяц мы получим вызов. Он сам намекал. Они никого не выпускают, но нас вытолкнут с радостью: для них это лучший способ — без скандала, тихо... Ты понимаешь, я уж действительно хочу, чтобы они меня поскорее посадили, чтобы наступила развязка... Чем хуже, чем лучше... не для меня — для книги. Книга — это моя жизнь, мой поступок. Я хочу определенности... А что иначе? Мне же ничего другого не остается — не быть же всю жизнь переплетчиком... Может быть, и твоя жизнь как-то переменится к лучшему — я и вправду на это надеюсь...

О н а. Запел, запел свою песню.

О н. А так лучше что ли?

О н а. Ты хотел пройти пылесосом книги и занавески.

О н. Хорошо, я не иду за детьми, я буду проходить пылесосом. Ты этого хочешь?

О н а. Не кричи, а? У меня голова болит... Ты устал, маленький, и выглядишь неважно. Телефон работает, ты бы позвонил Петьке — может, один к нему съездишь? Поживи у него пару дней. Кстати, он в восторге от твоей новой работы — вот и поговорите...

О н. О чем ты говоришь, какой Петька, какой отдых, когда я вижу, что дома полный развал, что дети больны, что ты...

О н а. А занавески вообще нужно купить новые. Эти уж лет двадцать висят.

О н. И купи. Скажи, зачем ты бережешь пять тысяч томов никому не нужных книг? Для какой жизни? Здесь они тебе не понадобятся, там — тем более, да их и не выпустят...

О н а. Здесь... там... Хорошо, предположим, мы уедем. Уехали... А кем мы там будем — в Америке, во Франции — где?

О н. Я не знаю... Кем? Не пропадем... Какая разница — кем? Просто людьми... Поедем куда-нибудь, где скалатина называется скалатиной, колбасой именно колбаса, а человек значит то, что могут его руки и голова, а не то, что он врет на партсобрании, — есть такое место на земле? Говорят, на Западе наши русские проблемы всем просто осточертели — и хорошо, будем жить без проблем. Только бы выпустили. Мы там сами по себе — и б е з п р о б л е м! Только бы вырваться отсюда... Не все ли равно, где и кем — мы будем просто людьми, п р о с т о л ю д ь м и.

О н а. Да я тоже думала... Знаешь, Петька получил большое письмо от Рыжего. Три года, как он уехал, и уже купил дом в пригороде Бостона. Двухэтажный особняк с двумя балконами. Машина. За домом — бассейн... Живут же люди.

О н. Рыжий! Рыжий — гений предпринимательства, ему здесь делать нечего.

О н а. Он звал тебя, говорил, ему нужна твоя голова.

О н. Не бойся, не пропадем... Да и ты... Европа ждет твои игрушки а ля рюсс...

О н а. А собаку? Собаку выпустят? А попугая?

О н. И собаку, и попугая, и даже твою мамочку — все уедем, все.

О н а. А занавески здесь оставим?

О н. Возьмем — пол мыть.

О н а. Неужели у нас будут другие занавески на окнах? А настальгия?

О н. По занавескам?

О н а. И по занавескам тоже — я же к ним привыкла...

О н. Сделать тебе еще бутербродик? Я думаю, что отпуск мы проведем на Майами... но зимой — это, говорят, не так дорого и народу немного...

О н а. А книги? Все загоним?

О н. Нет, возьмем всю русскую классику и по истории России.

О н а. Зачем? Разве мы будем русскими?.. А у Рыжего дети совсем перестали говорить по-русски. Он так и пишет: «Сволочи дети совсем не говорят по-русски...» Неужели и наши? Как

это? Наши девочки — и не русские... А мы с тобой?

О н. Можно подумать, что без этой тухлой колбасы ты — уже не русская... Без этой поликлиники, без Дашкиной учительницы, без подслушивающего аппарата, который где-то здесь записывает драму нашей жизни... Что это значит, быть русским?

О н а. Не знаю... Но все-таки это буду уже не я... Я — это моя судьба — ничтожная, несчастная... но моя... моя судьба здесь... Я думала — кто я? Нет, я не русская... Как ни смешно, я — советская... Россия, история — у меня этого ничего нет. За всю жизнь столько вранья в голову позатолкано — в голову, в душу — и мы принимали это вранье, принимали, как все принимают, куда же деваться-то — принимали... Все перепуталось... В какой-то момент в юности вообще казалось, что никогда не разобраться... Но ведь не только же принимали... но и сомневались; жили и жизнью проверяли, что вранье, что правда... Моя жизнь, опыт моей жизни — это опыт понимания, опыт освобождения от вранья... Это важно! У меня нет другой России, кроме той, в которой я живу. И другой истории у меня нет, кроме собственной жизни. Но эта жизнь у меня есть — опыт прозрения, опыт противостояния вранью... Нет, я — русская. Я русская, наделенная опытом сопротивления вранью — вот как это называется... Я — баба... мне это не под силу... Я еле тащу... Но этот опыт у меня есть. Было бы куда спокойнее, если бы мы остановились где-нибудь там, на полпути... друзья на кухне, анекдоты... Жизнь наша дурацкая, несерьезная... Все уже свершилось. Мы оказались одни перед этими бандитами. Ты, я и наши маленькие девочки... Но я-то согласия на это не давала... Я боюсь их, миленький, я боюсь их. Я же понимаю, все правильно. Ты не мог иначе, ты умница... Но девочки-то маленькие... И я никак к этому не привыкну. Да и как к этому привыкнешь? Я не рассказывала тебе самых страшных снов. Когда о н и входят ночью и убивают нас всех. И девочек. Я боялась это рассказывать. И ты знаешь... после этих снов я поняла, что все правильно, что истина именно в том, что все, что произошло с нами — твои книги, наша жизнь — все правильно... что даже если убьют девочек, то... Вот до какой

мысли я доросла. Вот какой опыт. Неужели мы этим не дорожим? Разве нам это легко досталось? А зачем этот опыт там? Там будет другое — будет хорошо одетая пожилая дама, она будет жить в чистом, хорошо обставленном доме, будет пить свой утренний кофе из хорошей посуды, все будет солнечно, опрятно... какая малость! А я со своими мыслями? Где буду я с этой своей жизнью, с этим своим опытом? Все останется здесь...

О н. Что ты говоришь? Тебя страшно слушать. У тебя нет чувства самосохранения... Разве человек не имеет права изменить свою судьбу к лучшему? Разве человек, покидая тюрьму, перестает быть самим собой?

О н а. Почему ты решил, что к лучшему? Мы ничего не можем изменить... Неужели все, что мы поняли, все, что следует из нашей несчастной жизни, — это то, что нужно уехать?... Тогда почему мы не уехали раньше? Почему ты раньше нас не увез? Рыжий тебя звал, а ты что ему ответил? Ты сказал, что хочешь понять себя в этой жизни... И мы поняли себя. И не только себя. Мы эту жизнь поняли. Мы поняли Регину, поняли Скоробогатова... Мы сдвинулись, но никак не можем оторваться от прошлого. Да, мы одиноки здесь, во времени. Каждый сам по себе. Нас никто не слышит... Но мы же не только во времени... Есть же вечное противостояние добра и зла. И в этом вечном противостоянии мы не одиноки... Это надо понять и принять на себя... Вечное... Надо жить в этом Вечном... Разве не это нам надо понять? Разве не эту судьбу принять на себя? Куда же нам ехать? Нам — здесь. До конца. Если, конечно, мы всерьез все это — и детям, и друг другу, и сами себе... Всерьез... Но решиться страшно. Страшно, боже, как страшно! И хочется зацепиться за прошлое или уехать... Может быть, все-таки уехать?

О н. Нет, друг мой, я — не пророк. Это ты пророк. Какие плодотворные идеи — сама-то хоть чувствуешь?

О н а. Не говори, это все твои штучки. Ты всегда торопишься и никогда не додумываешь до конца. И опять ничего не понял. А я... Мне это не нужно. Мне бы сидеть где-нибудь тихо, незаметно... согреться бы... растить детей...

О н. Все. Хватит. Если что-то делать, то делать. Скоро полдень, а у нас еще день не начался. Идти за детьми? Я пошел... Могу зайти в школу — что нужно было учительнице? Конец года — что ей понадобилось? Тебе в поликлинику — одевайся и иди, не забудь анализ... Или, может быть, все-таки ремонт? Если да — начинаем... Крутиться надо, крутиться...

О н а. Ты иди, иди... Я немножко посижу и тоже пойду потихоньку.

О н. Нет уж... Я уйду, а ты опять ляжешь и укроешься с головой.

О н а. Хорошо, мы выйдем вместе, только ты меня не торопи. Можешь пока помыть посуду — горячая вода есть (*Выходит, чтобы одеться.*)

О н. Нет уж... Я тебя не тороплю, но вот я сижу и жду... Я жду...

О н а появляется в новом платье.

Что за платье? То самое, английское? А это ничего, что так надеваешь? Не подходи к столу, здесь что-то... пятно посадишь...

О н а. Ты скажи, нравится?

О н. Да я в этом ничего не понимаю.

О н а. А вот Петька своей третьей жене все туалеты сам выбирает. Она моложе его лет на двадцать, и он наряжает ее как куколку... В каких она платьях — обалдеть! Я как-то на улице видела — люди оборачиваются.

О н. Ты не ее встретила. Это была пьеса про Ленина. Это были старушки, которые выгодно помолились на его портрет... Петюнчик... У него есть на что. А у меня — увы... Да, честно говоря, ты мне как-то больше... вообще без платья нравишься...

О н а. Замолчи! Надо же, какой чурбан бесчувственный... А как я себя чувствую — тебе наплевать.

О н. Мне кажется, уже пятнышко.

О н а. Ничего, отдадим в чистку. Оно хорошо чистится.

О н. Не понимаю. Собираешься купить?

О н а. Соседка приходила утром, и я сказала, что беру.

О н. Ты что, рехнулась?

О н а. С деньгами она может потерпеть до завтра.

О н. А что будет завтра?

О н а. Не знаю... Отвези шубу в ломбард... ты же сам вчера говорил...

О н. Я говорил? Предположим, я говорил — ну и что? Ты пользуешься моей добротой. Ты вымогаешь у меня, а потом я должен выворачиваться наизнанку, чтобы выкупать все это? Что?!

О н а. Посмотри на свои тапочки.

О н. Тапочки?

О н а. Ты помнишь, как я купила тебе эти тапочки? Ты устроил гнусный скандал. Ты кричал, что нельзя тратить деньги на лишние вещи, что тебе не нужны тапочки, что ты готов босиком ходить, только бы не тратить деньги попусту... несчастные тапочки...

О н. Ну хорошо, хорошо, оставь это платье.

О н а. Да?! Носи его сам. (*Снимает платье и, скомкав, бросает ему в лицо.*) Пророк поганый...

О н. Успокойся, пожалуйста...

О н а. И не лезь ко мне со своими успокоениями.

О н. Ты хотела идти в поликлинику. Анализ в холодильнике.

О н а. Анализ нести поздно, и мне не в чем выйти.

О н. Куда я должен идти? К маме? В поликлинику?

О н а. Не знаю, куда хочешь. Холодно-то как... (*Надевает шубу и ложится на тахту.*)

О н поднимает брошенное платье, расправляет его и осторожно держит на вытянутых руках. Свет меркнет. Темнота. Прожектор высвечивает портреты руководителей партии и правительства.

К О Н Е Ц

ПРОТОКОЛ осмотра

гор. Москва

3 июня 1985 года

Начальник следственной группы Следственного отдела КГБ СССР подполковник Губинский в присутствии понятых: Евдокимовой Натальи Николаевны, проживающей по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 9, кв. 46, и Ворониной Надежды Николаевны, проживающей по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 124, корп. 1, кв. 138, руководствуясь требованиями ст.ст. 178 и 179 УПК РСФСР, произвели осмотр журнала «Время и мы» № 79 за 1984 год, поступившего из управления КГБ СССР, о чем в соответствии со ст. 182 УПК РСФСР составили настоящий протокол осмотра.

Предусмотренные ст. 135 УПК РСФСР право делать замечания, подлежащие занесению в протокол, и обязанность удостоверить факт, содержание и результаты осмотра нам разъяснены.

Подпись (*Евдокимова*)

Подпись (*Воронина*)

Осмотром установлено:

Журнал «Время и мы» № 79 за 1984 год на русском языке, вышедший в одноименном издательстве и распространяемый в Нью-Йорке — Иерусалиме — Париже. На страницах 5-44 журнала опубликована «пьеса-диалог» в трех действиях Льва Тимофеева «Москва. Моление о чаше». На стр. 247 журнала в рубрике «Коротко об авторах» написано: «Лев Тимофеев — рукопись получена по каналам самиздата».

Все три действия «пьесы-диалога» происходят в квартире между мужем и женой. Из текста следует, что познакомились они двенадцать лет назад, вечером, в «каком-то молодежном кафе» и в тот же год вступили в брак. Тогда в кафе были Бабье-

городский Петр («...я отбил тебя у Бабыгородского...»), Регина, Анька, ставшая женой Бабыгородского, Рыжий, выехавший на жительство за границу, Сева, который может организовать вызов для действующего лица «пьесы-диалога» на Запад. О Бабыгородском автор пишет, что он — «комсомольский поэт, комсомольский драматург», благодаря этому имеет дачу, автомашину «Мерседес», живет в достатке, его пьесу — «...где старушки молятся на портрет Ленина — всем театрам велено поставить...» (слова жены). Муж в ответ на это заявляет: «Бабыгородский врет — ты хочешь, чтобы я тоже врал?.. Старушки! Пожалуйста, у меня в книге те же самые старушки и тоже на портрет Ленина молятся. Да мы их вместе и видели, этих старушек, и ты была с нами — помнишь? В той деревне, в очереди за хлебом» (стр. 24).

Действующие лица в «пьесе-диалоге» — «он» и «она» проживают в г. Москве, от совместного брака имеют двух дочерей, Дашу и Таню, которых иногда забирает к себе мать жены, также проживающая в Москве. Даша ходит в первый класс, верит в бога, носит нательный крест, в связи с чем к ним домой приходила учительница. «Он» — журналист, публиковался в периодических изданиях, а затем «пришлось уйти с работы» (стр. 10-11) — «два года назад» (стр. 16-17). «Она» нигде не работает, ей 38 лет, занимается лепкой игрушек. О своем детстве «она» говорит: «...отец спился, мы с матерью скитались по актерским общежитиям — общежитие в Тамбове, общежитие в Ростове, общежитие здесь, в Москве». В их личной библиотеке имеется энциклопедический словарь Брокгауза и приемник, с помощью которого прослушивают зарубежные радиостанции. Квартира действующих лиц в запущенном состоянии, кругом грязь, «нищета». Все это истолковывается автором как неизбежное следствие советской системы, в которой якобы действует «закон социализма: не украдешь — не проживешь» (стр. 24). Он (т.е. автор. — Л. Т.) утверждает, что в СССР все «подрабатывают или подворовывают, спекулируют, берут взятки, кто как может» (стр. 24), государственный и общественный строй именует «нечеловеческой системой» (стр. 18), пронизанной ложью и незаконностью.

«Она» и «он» люди низкой культуры общения, взаимоотношения между ними построены на сквернословиях и оскорблениях типа «подонки», «скотина», «животное» и т.п. Им присуща внутренняя опустошенность, бездуховность, оторванность от общества, в котором они живут, и его интересов. На стр. 29 «она» заявляет: «...Разве это жизнь... Какая нищета: какая скудость, какая ложь кругом — унижительная, смешная ложь... Разве это жизнь...» Их враждебное отношение к существующему в СССР государственному строю автор выражает на странице 11 «пьесы-диалога», когда действующие лица высказывают оскорбительные заявления в адрес руководителей партии и правительства. «Он» высокого мнения о себе и своем таланте — «ведь у меня голова на плечах, машина — и не плохая...» — считает себя первым человеком, исследовавшим советскую систему, — «Я исследовал систему, понял ее до конца, подумал...» Его портрет восполняет «она» словами — «тщеславный», «эгоист», «демагог», «пророк».

Из текста «пьесы-диалога» следует, что «он» под своей фамилией опубликовал на Западе две книги о социалистической системе в нашей стране, действующие лица осознают, что этим он совершил преступление, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 7 лет и ссылки до 5 лет. Оставшуюся рукопись «она» прячет в холодильнике. «Он» говорит: «...Когда Петька впервые прочитал мою книгу... сказал... ты — самоубийца, это я могу понять... но что ты, гад, о жене и детях не думаешь? Я тогда все это мимо пропустил... Я никогда не сомневался, что я прав — ни когда задумал книгу, ни когда писал, ни когда отдал публиковать — прав! И теперь уверен — прав!» (стр. 35). «...Мои книги — это ваше (жены и детей. — *примечание следователя*) будущее. Пойми, если меня здесь посадят, там, за границей, это привлечет внимание к моим книгам — будут тиражи, будут переводы — будут гонорары. Если меня посадят — это реклама. Я уверен, если меня посадят, вы будете хорошо жить, будете прекрасно обеспечены — ведь есть же каналы помощи, приходят посылки, люди оттуда приезжают» (стр. 18).

В ходе диалога «он» склоняет жену к выезду на жительство за границу, рассчитывая обеспечить вам свое благополучие за счет гонораров от уже изданных и будущих книг, которые намерен написать.

В процессе осмотра изготовлена ксерокопия обложек журнала «Время и мы» № 79 за 1984 года и опубликованной в нем «пьесы-диалога» Льва Тимофеева «Москва. Моление о чаше», которая прилагается к протоколу.

Осмотр производился с 9 часов до 13 часов 10 минут.

Протокол нами прочитан. Записано правильно. Замечаний по поводу осмотра и содержания протокола не имеем.

Поняты:

Евдокимова

Воронина

Начальник следственной группы
Следственного отдела КГБ СССР

подполковник

Губинский